



КОНСТАНТИН СИМОНОВ

СОЛДАТАМИ
НЕ
РОЖДАЮТСЯ



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С37

Симонов, Константин Михайлович.

С37 Солдатами не рождаются / Константин Симонов. — Москва : Эксмо : Яуза, 2022. — 864 с. — (Классика военного романа).

ISBN 978-5-04-169909-3

Вторая книга трилогии классика военной прозы Константина Симонова продолжает знакомить читателей с ходом Великой Отечественной войны. В центре событий — завершающий этап Сталинградского сражения, победа в котором ознаменовала коренной перелом в войне. Главные герои книги — старший лейтенант Синцов и комбриг Серпилин — продолжают нелегкий фронтовой путь к разгрому врага.

На страницах произведения умело сочетаются фронтовая реальность и жизнь в тылу — в Москве и Ташкенте, более ярко показаны боль потери близких людей и чувства главных героев, но главная мысль автора — «солдатами не рождаются» — незримо присутствует во всей книге, а героический Сталинград является лучшим местом, где раскрылось боевое мастерство Красной армии.

Изображая героизм советских солдат и офицеров, Константин Симонов показывает и работу штабов, планирование наступательных операций и переживания командующих за исход сражения, не забывая упомянуть и тех, кто отсиживался в тылу.

Роман «Солдатами не рождаются» получил высокую оценку классиков советской литературы М. Н. Алексева и Ю. В. Бондарева, а его сюжет не утратил своей актуальности и сегодня.

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

© Симонов К.М., наследники, 2022
© ООО «Издательство «Яуза», 2022
© ООО «Издательство «Эксмо»,
2022

ISBN 978-5-04-169909-3

Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Последним уехал командир 332-го, майор Барабанов. Серпилин молча, со значением пожал ему руку: «Знаю, что еще добавишь, но много не добавляй. Понял меня, Барабанов?»

Хоть и подмывало сказать это вслух, удержался. Все же — командир полка. Если дать привыкнуть человеку к тому, что не надеешься на его совесть, можешь потерять и ту, что осталась.

Принимали гостей в землянке у начальника штаба, полковника Пикина, — самой просторной из всех и даже с присланным женою ковром над койкой. Провожая, оделись и вышли на воздух втроем — с Пикиным и замполитом, полковым комиссаром Бережным.

— Двадцать три ровно, — сказал Пикин, заворотив рукав полушубка и посветив фонариком на часы. — Первый этап встречи завершили по плану, не задержали. К бою курантов будут у себя на местах и поднимут — кто на что способен!

— Хотелось бы, чтобы некоторые были способны на меньшее, — сказал Серпилин. — Беспокоюсь за Барабанова...

— Ничего, Левашов его удержит, — сказал Бережной.

— Как же, удержит твой Левашов!

— А что, характер на характер...

Серпилин не ответил: не хотелось ни спорить, ни говорить. Хотелось молча постоять под высоким морозным небом, почувствовать его высоту и торжественность.

Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда, она лежала во льдах, далеко-далеко, за левым флангом фронта, но Серпилин все равно незримо чувствовал ее сейчас — и ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них — переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от Красного Кута на Эльтон — глубокие тылы, госпитали, госпитали...

Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже шесть недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему огромному кольцу в двести километров, сидели немцы — двадцать две дивизии, — сидели и ждали! Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении, — ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели — всего вместе.

А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже третью неделю все не штурмовали и не штурмовали — готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западной Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох, донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло.

Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, — на юге, в голых степях на полдороге к Ростову, или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за триста километров отсюда, у Черткова и Миллерова.

Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом; она скрежетала гусеницами, строчила из

пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях, и с хриплым «ура», с матерщиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном, растоптанном снегу.

Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи: они просто не помнили о ней.

Серпилин был военным человеком и знал, что на войне не бегают с места на место, ища, где пожарче: на войне ждут своего часа. Он не мог сейчас оказаться со своей дивизией там, в самом центре сотрясавшего равнины южной России землетрясения, но хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки. И это прозвучало в его голосе, когда он после долгого молчания сказал:

— Да, у нас пока тишина...

— В такую ночь и нам бы не молчать, а воевать! — сказал Бережной.

— Ну что ж, сходи на передний край, постреляй из пулемета! По крайней мере, будет что в политдонесении писать: активные боевые действия, воюем, не молчим, не теряем боевого духа... — насмешливо ответил Серпилин.

Слова Бережного заделали его. Водится же еще за людьми эта глупая привычка прийти на передний край и, если там как раз в эту минуту тихо, непременно открыть огонь, вызвав ответный, как будто солдатам мало того, что и так достается на их долю. Бережной это «поднять активность» называет, а на самом деле — просто мальчишество. И вдобавок не по возрасту: скоро сорок стукнет! До каких пор можно радоваться, что ты храбрый, и доказывать это с риском для своей и для чужой жизни!

— Да разве я об этом, Федор Федорович? — Бережной готов был вспылить, но сдержался.

— А о чем же, Матвей Ильич?

— Я вообще сказал...

— Что значит «вообще»? В наступление, что ли, предлагаешь перейти нынче ночью? Как, поставим армию в известность или сами начнем, пусть присоединяются?

— А чего ты ко мне прицепился, Федор Федорович, ради праздника, что ли? — огрызнулся Бережной.

— А того я к тебе прицепился, друг ты мой дорогой, что я вчера на совещании у командующего уже слышал эту блестящую мысль, чтобы сегодня ночью пошуметь, немцам Новый год испортить. А заодно — и себе. Слышал и возражал. Высказал точку зрения, что, если всерьез воспользоваться новогодней ночью для наступления, — это резон. А если просто пошуметь, так надо и себя и солдат пожалеть, не портить им такой ночи. Немцы, кстати, не столько Новый год, сколько Рождество празднуют. В сочельник надо было шуметь. Спасибо, член Военного совета поддержал. Только сверху отбил, а ты уже снизу жмешь.

Серпилин с невидимой в темноте улыбкой обнял Бережного и дружески похлопал его по плечу.

— Не обижайся ради праздника, а то весь год ссориться будем! Еще поглядим, всюду ли тишину соблюдут. Командующий оставил это на усмотрение командиров дивизий.

— Соседи пока молчат, — сказал Пикин.

— Они и там, у Батюка, оба молчали, — сказал Серпилин. — Только потом, когда я возразил, а Захаров меня поддержал, по лицам понял, что и они за тишину.

— Батюка своими возражениями расстраивать не хотели, — съязвил Пикин.

— А я, думаешь, хотел? — сказал Серпилин. — Все люди — человеки, сидел да ждал, может, кто другой первым встанет.

— Уже двадцать три десять, — сказал Пикин, снова поветив фонариком на часы.

— Вижу, ты совсем бога не боишься, скоро с фарами ездить начнешь...

— А, не до этого им теперь! — Пикин махнул рукой в сторону немцев. — Вернемся? А то пробирает...

— Ко мне в землянку милости прошу, — сказал Серпилин. — Куранты послушаем, чайку попьем...

— Идите, я сейчас тоже приду, — сказал Пикин, — только захвачу одну вещь.

Он повернулся и пошел к своей землянке, а Серпилин и Бережной зашли в землянку Серпилина.

— Птицын, чайку нам сообразите, — сказал Серпилин своему ординарцу, проходя вместе с Бережным через переднее отделение землянки, которое он называл «предбанником».

В «предбаннике» стоял топчан Птицына, завешенный плащ-палаткой, и была сложена самодельная печка, зеркалом выходявшая в другую, главную часть землянки.

— Что, в самом деле чай пить будем? — спросил Бережной, когда они сели за стол.

— В самом деле. Разве что Пикин мой план нарушит. Не обиделся, что покритиковал тебя при нем?

— При нем, не при нем, какая разница? Мы с Пикиным столько раз друг друга во всех видах видели, что какие уж секреты!

— Это, положим, верно, — сказал Серпилин.

А про себя подумал, что не задал бы такого вопроса — обиделся или не обиделся Бережной, если бы не та перемена в положении Бережного, что произошла недавно: был комиссаром дивизии, а стал, после приказа о единоначалии, замполитом. Приказ этот, по глубокому убеждению Серпилина, был совершенно правильный, он лишь ставил точки над «і», подтверждал то бытие, которое практически сложилось на войне. А если этот приказ где-то и менял отношения между командиром и политработником, то только там, где они по слабости командира или по взаимному непониманию складывались неверно, во вред войне, которая не новгородское вече! У них с Бережным, слава богу, этого не было. Однако Серпилин все

же чувствовал, что Бережному в душе жаль с юности привычного и доброго слова «комиссар». Даже при наилучших отношениях в такой перемене служебного положения была своя боль.

То ли Бережной понял, о чем думает Серпилин, то ли сам думал об этом, но, с минуту просидев за столом, он сказал:

— Поменьше заботься, Федор Федорович, о том, чтобы меня в моем новом положении не задеть. Имей в виду, мы, политработники, о своих званиях в последнюю очередь заботимся!

— То есть это как понять? — спросил Серпилин. — Вы, политработники, борцы за идею, а мы, командный состав, только и мечтаем о чинах да званиях? Так, что ли?

— Вот это — другое дело, вот это я тебя узнаю! — рассмеялся Бережной. — Вот так и дальше не будем друг другу спуска давать! А то я за последнее время заметил: ты меня, как инкубаторного цыпленка, все в вату заворачиваешь.

— Ну уж и в вату! — смущенно усмехнулся Серпилин и вдруг спросил о том, о чем уже давно собирался спросить: — А как у тебя в полках замполиты свое новое положение переживают?

— Ничего. Раз партия приказала — переживут, — сказал Бережной. — Только один Левашов со мной разговор имел, просился, как новые звания присвоят, сразу же дать ему строевую должность, не хочет ходить в заместителях у Барабанова, живет с ним как кошка с собакой. А что, из него добрый комбат выйдет!

— Может, и больше комбата выйдет, — задумчиво сказал Серпилин, — да полк жаль лишать такого политработника. А если Барабанов на полку останется, тем более.

— А он останется?

— Не растравляй рану. Знаешь же, что изнасиловали меня! Вот так отступишь, не поставишь вопрос на попа,

а потом ночей не спишь: во что обойдется твой грех? Начинать наступление с командиром полка, в которого слабо верю, — мозоль на душе!

— Брось расстраиваться, Федор Федорович, — сказал Бережной, — дивизия у нас хорошая, один Барабанов обедни не испортит.

— Это как сказать!

Ординарец принес чайник, заварку и стаканы.

— Такие дела, комиссар, — по привычке называя так Бережного, сказал Серпилин, переждав, пока не вышел ординарец. — Сержусь на себя, что взял Барабанова. В первые дни приглядывался, мечтал, что командующий прав, а я ошибаюсь. Теперь ко всему выяснилось, что еще и пьют! Какие уж тут мечты! Тебе как, покрепче?

— Покрепче. После таких разговоров действительно только чай пить, — рассмеялся Бережной.

— А вот и Пикин, — сказал сидевший лицом к двум Серпилин. — Что это ты тащишь?

Пикин скинул полушубок и торжественно поставил на стол бутылку шампанского.

— Удивил! — сказал Серпилин.

— Сам удивляюсь, — подсел к столу Пикин. — Супруга еще ко дню рождения с оказией прислала, а я додержал. Откроем?

— Да уж потерпим до двадцати четырех, — сказал Серпилин. — Пока чаю выпей.

— Так подожду, — сказал Пикин. — Дай, Федор Федорович, итоги, что ты нам читал, хочу своими глазами...

Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были «Итоги шестинедельного наступления наших войск», переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как

можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты.

О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командиру дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничижением; наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны.

А хотя почему — потом? Это уже и сейчас история.

— На, прочти еще раз вслух, — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину.

— «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24-я немецкие танковые дивизии... 71, 76, 79, 94, 100, 113, 297-я...», — читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз.

Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в донских и калмыцких зимних степях...

Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены,

далеко и от читавшего сводку Пикина, и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было.

То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним.

Для того чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть.

Да, она сейчас стояла и ждала своего часа, и они наступали там, в крови и дыму. Но для того чтобы они могли сейчас, зимой, наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин, ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи, она истекала кровью и пополнялась и снова обливалась кровью.

О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит — «беречь людей»? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой.

А мера этой необходимости — действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, — на твоих плечах и на твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы — не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки...

И если превысить власть — это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости — тоже кровь. Где тут

мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или, на худой конец, трибунал определяют ее задним числом, а ты сам, в ту минуту, когда приказываешь! Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, — успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее.

Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге все, вместе взятое, оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих.

Да, оправданно. Но люди, люди!.. Если бы всех их оживить и посадить вокруг...

Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу.

А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтоб щадили себя.

Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии — Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось пятьдесят. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии, а потом, в Гражданскую, не воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не доверяли, и, кто знает, может, тогда это было и справедливо.

Сидит Пикин, которого в двадцатые годы уволили из Пехотного училища, потому что его жена была сестрой нэпмана, и ему пришлось жить заново, кончать заочный институт и по длинной канцелярской лестнице дослуживаться до главного бухгалтера наркомата.

Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять, как самому себе. В нем и сейчас, на войне, осталось что-то от главного бухгалтера и в смысле точности, и в смысле упрямства.

Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопарым старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии «Врангелем», со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы, и со своей девчонкой из роты связи, которая неизвестно почему не чаёт души именно в нем, хотя могла бы влюбиться и в кого-нибудь помоложе.

И, знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку.

И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе трудно было ожидать, и тоже сидит здесь и слушает Пикина, и на глаза у него накатываются слезы, потому что он из тех, что и смеются, и плачут без раздумий.

Бережной, с его снятым уже во время войны строгим выговором за брата, бывшего секретаря горкома в Донбассе, о котором он на памяти Серпилина так ни разу и не заговорил; в то, что брат — враг народа, видимо, не верит, сказать это во весь голос не может, а вополгоса не умеет.

Бережной — наголо бритый, короткий, крепкий, с толстой шеей, толстыми, железными руками, шумливый и сентиментальный Бережной, с его шахтерскими словечками и шахтерскими песнями, с его донбасской юностью двадцатых годов и неумелыми стишками в газете «Кочегарка». Он зачем-то до сих пор возит их при себе вместе с юношеской карточкой; оказывается, у него была такая

пышная чернокудрая шевелюра, какой теперь просто и не вообразишь, глядя на его лысую голову.

Бережной — дитя комсомола, а до этого беспризорник, милостью сыпного тифа в пятнадцать лет — круглый сирота и, между прочим, по документам еврей. Об этом мало кто знает в дивизии, да и навряд ли это имеет какое-нибудь значение для него самого.

Бережной, горячий и пристрастный к людям, но при этом всегда готовый, не раздумывая, положить свою жизнь за любого из них.

И ему Серпилин тоже благодарен за то, что он жив и сидит сейчас здесь, рядом с ним, ему было бы очень тяжело потерять вот этого Бережного.

Пикин — это июльский приказ Сталина, тот самый, страшный, после сдачи Ростова и Новочеркасска: «Ни шагу назад!» Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелона швырнули в бой, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себя часть того, что причиталось другим, кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубали фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку:

— Вот мое заявление.

Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление (даже мелькнула нелепая мысль: не отставки ли просит?), а потом понял и сказал:

— Это не мне — комиссару.

— Не видел его с утра, — сказал Пикин, — и не знаю, увижу ли. Возьмите!

И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только:

— Хорошо подумали?

— Уж как-нибудь, время было, — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу.

И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. Если они окажутся в плену и им крикнут: «Кто из вас коммунисты?» — начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке.

Пикин — это переправа через Дон, после того как половина дивизии полегла там, за Доном. Серпилин в тот день оказался в окруженном полку на отшибе, и, когда на закате все же пробился и вывел остатки полка к переправе, оказалось, что на переправе нет бедлама, который он страшился увидеть, а порядок, и этот порядок навел подошедший сюда с ядром дивизии Пикин. Переташенные за Дон батареи прикрывали переправу огнем, в степи полукольцом поднимались дымы подожженных немецких танков; две счетверенные пулеметные установки у понтонного моста, захлебываясь, бесстрашно, в упор били по пикировавшим на переправу самолетам.

На переправе творился кромешный ад и каждую минуту погибали люди, и все же на ней существовал порядок, и этот порядок обеспечивал Пикин, стоявший на берегу, не в окопе, который ему вырыли, а во весь рост, на самом виду у смерти, потому что сейчас это от него и требовалось.

А в пяти шагах от Пикина, на траве, раскинув руки, лежал мертвый помощник начальника штаба полка по разведке, старший лейтенант Брускин.

— Убили Брускина, — сказал Серпилин, глядя на мертвого.

— Разрешите доложить, товарищ комдив, — сказал Пикин, приложив к козырьку крепко сжатые, недрогнувшие пальцы, — бывший комендант переправы Брускин, самовольно покинувший свой пост, возвращен и расстрелян в связи со сложившейся обстановкой. Лично мной.

И только теперь Серпилин заметил: Брускин лежит на земле в гимнастерке с сорванными петлицами.

Да, Пикин — это тот день на переправе и многие другие такие же дни, и вообще, когда думаешь о Пикине, невольно вспоминаешь самые тяжелые дни, наверное, потому, что там он и оказывался на высоте положения. А легких дней вообще было мало.

Бережной — это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге и пришлось погибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате, на перепутье ушедших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и оттого, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам.

Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надбровье у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована: из одного, открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым, закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй, закрытый глаз Бережного там, под бинтами, тоже плакал.

— Да что ж мы творим с тобой? — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. — В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым и все-таки до Волги дошли — живые! Какие же мы сволочи после этого!

И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа.

Бережной — это первый день наступления в сентябре, севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на три километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП после того, как облазил два полка, и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его два раза чуть не убили, и, узнав, что в третьем полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк.

Но Бережной — это и следующий день того же самого наступления, когда стало ясно, что немцы остановили нас, задушили с воздуха, прижали к земле, и когда на НП дивизии среди бела дня под бомбежкой прорвался на своем «Виллисе» командующий армией Батюк и с порога беспощадными площадными словами стал крестить Серпилина за то, что дивизия с утра не прошла ни метра.

Серпилин молчал, потому что если б он открыл рот и сказал все, что думает о Батюке и его словах, то вышедший из себя Батюк мог дать волю рукам, и тогда оставалось бы пустить пулю в лоб ему или себе.

Но бритая голова Бережного налилась кровью, и он не своим, задавленным голосом спросил, перебивая Батюка посреди его ругани:

— Товарищ командующий, разрешите обратиться?

И голос его был таким, что Батюк остановился и взглянул на Бережного.

— Я не знаю, почему молчит командир дивизии, — сказал Бережной, — но как же вы смеете с нами так говорить, как будто мы ваша барская дворня, нерадивые холопы! Какой же вы коммунист после этого, товарищ командующий?..

Батюк с искаженным лицом надвинулся на Бережного, и Серпилин уже вскочил, чтобы встать между ними,

но Бережной сам отступил на два шага в угол блиндажа, заложил руки за спину, из багрового стал белым и сказал:

— Не подходите, товарищ командующий, я этого и отцу не позволял!

И Батюк опомнился. При всей его грубости и даже хамстве жило в его душе непогасшее чувство солдатской справедливости.

В первый, удачно начатый день он уже поверил, что пробьется к Сталинграду, и свалившиеся потом несчастья довели его до отчаяния, до неудержимой, дикой потребности сорвать свой гнев на других. С тем и ехал сюда прямо под бомбами, гнал машину с прилипшим к рулю от ужаса шофером, готовый — черт с ним! — тоже погибнуть здесь, где зря погибло столько людей. Собственная смерть казалась ему неважной рядом с тем, что произошло, — с неудачным наступлением его армии...

С тем и ворвался сюда, в блиндаж, и вдруг после слов Бережного остановился, тяжело сел на табуретку и сказал Серпилину:

— Давай карту.

Подвинув к себе карту, но еще не глядя на нее, осмотрелся — в землянке, к счастью, не было никого, кроме них троих, — повернулся к Бережному, поднял на него усталые глаза и сказал:

— Дурак ты, комиссар. Думаешь, меня ласкают, думаешь, на моей душе хоть одно живое место осталось?.. Дай воды попить.

Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным, и все это был кровавый сорок второй, кончавшийся сегодня год...

— Федор Федорович, точка... Ты что задумался? — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина.

— Слышу, что закончил, — сказал Серпилин. — Наливай. Всего две минуты осталось.

Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время: музыка ворва-

лась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и, стоя у стола навытяжку, слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов.

Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча.

Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку.

— Спасибо, товарищ командующий. Благодарим... И вас также. Поздравляем Военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина... Ближе к утру думаю в полки съездить. Так точно, празднуем... Спасибо... Командующий просил передать вам поздравление Военного совета с Новым годом, — сказал Серпилин, положив трубку.

— Судя по времени, — сказал Пикин, взглянув на часы, — в нашу дивизию в первую позвонил.

Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей.

— Да, — сказал Бережной. — Что-то такое на душе творится, сам не разберу. Что же это за год за такой, срок второй! Что было и что стало с нами!

— Да, если бы не товарищ Сталин с его железной выдержкой, не знаю, чем бы этот год кончился, — сказал Пикин. — В прошлом году под Москвой до последней минуты три армии держал в кулаке, не дал растащить по частям — и ударил! А теперь здесь, у нас, тоже сумел дождаться часа! Железные нервы на войне — великое дело. Половина всей стратегии.

Серпилин молчал. Спорить с этим не приходилось, Не только не было возможности, но сейчас, после все новых и новых успехов, не было желания спорить.

И только в глубине души, несмотря на все происшедшее за последнее время, как камень лежал старый вопрос: как же так? Откуда же все-таки она взялась, та принесшая необозримые последствия внезапность июня

сорок первого? Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух, но другого слова, как ни насилуй себя, не подберешь. А ведь, если глядеть правде в глаза, именно та прошлогодняя внезапность, в конце-то концов, и привела нас сюда, к Волге. Да, Пикин прав: когда мы громим теперь немцев, за этим стоят и воля, и выдержка — это Сталин.

Ну, а то, что было вначале? Это кто?..

— Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь? — спросил Бережной Серпилина.

С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи.

Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба.

— Посплю три часа и поеду. Начну с Цветкова. Могу взять тебя за компанию, — сказал он Бережному.

Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть двести человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию.

— Не терпится, — сказал Серпилин.

— Да, просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил.

— Ну, это как сказать. И мы тут не до конца войны стоять будем, — заметил Серпилин и добавил, что раз Бережной едет в Зубовку, пусть днем на обратном пути заглянет в медсанбат — посмотрит, не создались ли там излишне мирные настроения в связи с затишьем. Есть много признаков, что ему скоро конец!

— Боюсь, как бы Бережной там в медсанбате не задержался, — сказал Пикин. — Туда, говорят, новый хирург прибыл — красивейшая женщина.

— Не беспокойся, не задержится, он не такой бабник, как ты, — сказал Серпилин. — Между прочим, ты хоть бы фигуру, что ли, сменил, а то мне тут зам по тылу на днях говорит: видел вас, товарищ генерал, издали в роте связи, но пока туда-сюда — не догнал: уже уехали. А в роте связи и ноги моей не было!

Пикин с его долговязой, жилистой фигурой в самом деле был издали похож на Серпилина, и это уже не впервые служило в их кругу предметом шуток.

— Вот ты о конце войны заговорил, — посмеявшись над Пикиным и снова став серьезным, обратился Бережной к Серпилину. — А когда он, по-твоему, будет, конец войны, не уточнишь?

— Где? У нас, в Сталинграде, или вообще?

— Вообще.

— Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя другие все подбивали: «Спроси у Жукова, когда конец войны будет». Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился... Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится!..»

— Ладно, — рассмеялся Бережной, — допустим, Жуков не знает. А ты?

— Если сегодняшней день считать за середину, — значит, еще год, шесть месяцев и девять дней. Девятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого.

— Точно, — наморщив лоб, видимо, пересчитав уме, сказал Пикин.

— А по-твоему, сегодняшней день можно считать за середину? — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно.

— Судя по событиям последнего времени, можно, — сказал Серпилин.

— Долговато, — мрачно сказал Бережной. — Боюсь, как бы бабам после войны не пришлось рожать от беспорочного зачатия!

— Союзники называется! — сказал Пикин. — Неужели и в этом году второго фронта не откроют?

— Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую! — Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся.

Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через три часа, разобрал койку, разделся и лег. И, уже лежа, еще раз подумал: «Неужели и в самом деле только середина войны?»

Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул...

2

К половине пятого утра Серпилин, как и намеревался, уже был в полку Цветкова. В дороге чуть было не передумал и не поехал к Барабанову, но потом сердито решил: «Ничего, не маленький, в конце концов». И начал с левого фланга, с Цветкова.

Подполковник Цветков, когда приехал Серпилин, спал. И Серпилин приказал оперативному дежурному не будить командира полка.

— Пусть спит, обойдусь без него, дайте провожатого.

Но Цветкова все же разбудили, и он нагнал Серпилина на переднем крае, в ходе сообщения.

— Интересно у тебя дело поставлено, Цветков, — притворился сердитым Серпилин. — Командир дивизии одно приказывает, а твои офицеры по-другому делают.

— Сам проснулся, товарищ генерал, — соврал Цветков.

Он раз и навсегда заранее отдал приказание: кто бы и когда бы ни приехал в полк, все равно немедленно будить его, если спит, или извещать, если отсутствует. Это было предусмотрено и на тот случай, если прикажут: не будить и не искать! У Цветкова всегда все было предусмотрено.

— Как спишь, Цветков, одетый или раздевшись?

— Раздеваюсь, товарищ генерал. Я своим солдатам доверяю, в кальсонах в плен не попаду.

— Так до сих пор в шинели и ходишь?

— Ничего, товарищ генерал, не воробей, не замерзну, — сказал Цветков.

Он любил форму и в самые трескучие морозы ходил в шипели и сапогах, полушубок и валенки за форму не признавая. Во всяком случае, для себя.

«Цветков есть Цветков», — идя вслед за попросившим разрешения обогнать его, чтобы показывать дорогу, Цветковым, подумал Серпилин, подумал теми самыми словами, которые часто можно было услышать в штабе дивизии, когда речь шла о Цветкове.

«Цветков есть Цветков», — говорили с разными интонациями. Говорили и тогда, когда Цветков выполнил в точности задачу дня, но, не успев получить новую, начал топтаться на месте, не развивал успеха на свой страх и риск; говорили и тогда, когда он в самом безвыходном положении мертвой хваткой удерживал позиции, не помышляя ни отойти без приказа, ни запросить разрешения на отход. «Цветков есть Цветков», — говорили и тогда, когда он, не раскрывая рта, сидел на совещаниях, и тогда, когда он гораздо скупей соседей представлял к наградам, считая, что в его полку не сделано ничего сверх должного, и тогда, когда из политдонесений выяснялось, что именно у Цветкова нет ни одного случая самострела, ни одного ЧП, ни одного перебоя с подачей горячей пищи на передовую.

Цветков был командиром полка одновременно и средним и образцовым. И в зависимости от обстановки на первый план выступало то одно, то другое. Восхищались им редко, но не уважать его было невозможно.

У него и сейчас, в эту ночь, в полку, разумеется, был образцовый порядок. Все, кому было положено спать, спали, все, кому было положено дежурить, дежурили в полной боевой готовности.

Пройдя полтора километра по окопам переднего края, Серпилин вместе с Цветковым остановились около одного из дежуривших в окопах солдат.

С тех пор как солдат заступил на пост, у немцев ничего не было слышно. В их траншеях, тянувшихся по краю хутора, вдребезги разбитого бомбежкой, всю ночь стояла мертвая тишина.

— Только час назад один свисток был и небольшое хождение, — доложил солдат.

— Возможно, разводящего вызывали, — сказал Серпилин.

— Всю ночь молчат фрицы, — сказал солдат. — На пустой желудок много не наговоришь.

— А как у вас с пищей, с наркомовским пайком? Жалоб нет? — спросил Серпилин и почувствовал, как Цветков весь напрягся за его спиной.

— Никак нет, товарищ генерал, — сказал солдат.

«Черт его знает, — подумал Серпилин, — не вводили мы этого „никак нет“ и не культивировали; само собой, незаметно из старой армии переползло и возродилось, и все чаще приходится его слышать... Парень молодой, не с собой его принес, здесь приобрел».

Он спросил у солдата фамилию, какого он года и откуда. Фамилия у солдата оказалась редкая — Димитриади, он был грек из-под Мариуполя, двадцатого года рождения.

— Говорят, товарищ генерал, что Сталинградский фронт уже на полдороге к нашему Азовскому морю.

— Примерно так, — сказал Серпилин. — Об итогах боев за шесть недель слышали или еще не слышали?

— Говорят, богатое сообщение. Обещали утром в роту доставить.

Серпилин уже собирался идти дальше, но солдат остановил его вопросом:

— Товарищ генерал, разрешите спросить?

— Ну?

— Правда, по радио передали, что союзники сегодня ночью по всей Европе высаживаются?

— Кто это вам сказал?

— Солдаты говорят. Говорят, Черчилль обещал свое слово все-таки выдержать, которое товарищу Сталину дал, — чтобы их высадка хоть и в последний день, а все-таки по сорок второму году считалась.

— Тише, — сказал Серпилин и приложил палец к губам.

Солдат удивленно посмотрел на Серпилина и шепотом спросил:

— Почему?

— Немцы услышат, — сказал Серпилин. — По какому радио эту военную тайну приняли — по московскому или по солдатскому?

— По солдатскому, — поняв шутку, улыбнулся солдат.

— Нет, товарищ боец, — уже серьезно сказал Серпилин. — Не высадились наши многоуважаемые союзники и пока не собираются. Так что придется нам и в дальнейшем на самих себя рассчитывать.

— Конечно, — ответил солдат с готовностью, в которой чувствовалось разочарование. Ему было жаль, что солдатское радио набрехало, и, стало быть, опять выходит, что войну не укоротит никакое чудо.

Следующий солдат, с которым говорил Серпилин, был ему знаком и раньше. Фамилия забылась, остался на памяти только подвиг: в одну сентябрьскую ночь, когда дивизии до зарезу нужен был «язык», этот невидный и немолодой уже солдат вызвался пойти взять «языка»; и пошел и взял.

— «За отвагу» вам вручили, а, Мартыненко? — спросил Серпилин, радуясь, что все же вспомнил фамилию солдата.

— Вручили, — сказал Мартыненко, а по его тону чувствовалось, что все это давно прошедшее. Сейчас его

занимало другое: он был родом из Мелового, Ворошиловградской области, слышал сегодня, что по радио передавали итоги боев, и хотел знать, не указано ли там в итогах их Меловое. — Что станцию Чертково взяли, это еще три дня назад было в сводке, а Чертково и Меловое, можно сказать, одно и то же, — рядом!

Серпилин сказал, что в итогах вообще нет названий освобожденных нами населенных пунктов, только указано их общее количество — около полутора тысяч.

— А я все жду, жду, когда в сводке про наше Меловое напишут. Хуже всего, если передний край там встал между Чертковом и Меловым, тогда, значит, все в порошок сотрут. — Мартыненко с ожесточением махнул рукой.

Он был прав — знал войну по-солдатски и еще сам других мог поучить, что такое война. Серпилин только сказал ему в утешение, что помнит эти места еще по Гражданской, и навряд ли наши, взяв Чертково, застряли, сильных естественных рубежей там нет, и наши, скорее всего, сразу продвинулись за Меловое, до Камышовой.

То, что командир дивизии, оказывается, знал эту их донбасскую речку, обрадовало Мартыненко. Речка вдруг стала как бы их общей знакомой.

— Так думаете, разом до Камышовой дошли, товарищ генерал?

Серпилин развел руками.

— По здравому смыслу — так, но отсюда не видно.

— А когда здесь в наступление на фрица пойдем? Когда его к ногтю возьмем? — жестко, с озлоблением спросил Мартыненко, и в его голосе было нетерпение, хотя в тот день, когда фрицев будут брать здесь к ногтю, не кому другому, а именно ему придется первым вылезать из этого ближайшего к немцам окопа и идти по открытому полю под пулями к вон тем виднеющимся вдали снежным буграм.

«Наступление, наступление, — подумал Серпилин, когда, простившись с Мартыненко, пошел по окопу дальше. — Одно дело — с нетерпением ждать его, планируя

в армейском или дивизионном масштабе, а другое дело — вот так ждать, как солдаты ждут. Закончилась артподготовка — вылез и пошел, а не пойдешь, прижмешься к земле под пулями, вот и не будет никакого наступления. И „вперед“ некому кричать, кроме самого себя. А что кого-то во время первой же атаки убьют, или тебя, или другого, — это у начальства уже запланировано, и солдат знает, что запланировано, что без этого не обойдется. Знает, а все же спрашивает: когда фрица к ногтю? И не для виду спрашивает, а по делу. И хотя у тебя больше орденов на груди, чем у него и есть и будет, а высшая доблесть — все же солдатская. И коли ты стоящий генерал, про тебя, так и быть, скажут: „Это солдат!“ А если нестоящий, так и не дождешься это услышать».

— Что, товарищ генерал, к командиру роты зайдем? — спросил Цветков.

— А кто у тебя сейчас на роте? Алферов? — через плечо спросил Серпилин.

— Алферов.

Серпилин прислонился грудью к брустверу окопа, чувствуя даже через полушубок ледяной, пронзительный холод окаменевшей земли.

Там, впереди, за тишиной, были немцы.

Что они делали в эту новогоднюю ночь в своих ледяных норах? О чем думали, на что надеялись? Но что бы они там ни думали, каждый по отдельности, все вместе они думают как раз противоположное тому, что думаем мы. И каждое наше желание сталкивается с их противоположным, и каждая наша надежда — с их противоположной, и каждый наш расчет — с их противоположным. И все, что было и будет хорошо для нас, было и будет плохо для них. И так до конца войны, до последнего ее часа, потому что война как монета: сколько ни катится, а все равно на ребро не встанет — ляжет или орлом, или решкой, кто-то сверху, кто-то снизу; пощады нет и не будет ни нам от них, ни им от нас...

Отсюда, из этого окопа на передовой, все казалось огромным: и то, что впереди, и то, что сзади. А ты, человек, находился как бы на самом острие громадного клина, молча упертого в этой тишине в грудь врага. И какая бы великая сила ни была там, позади тебя, все равно, когда *начнется*, она тобой, твоим телом вдавится в это лежащее впереди враждебное, молчаливое пространство.

«Да, нелегкая солдатская должность, — подумал Серпилин. — А сколько людей на ней...»

— Ну что ж, зайдем к Алферову.

Когда они зашли в землянку, лейтенант Алферов, бледный, худенький юноша в съехавшей на затылок ушанке и полушубке внакидку, сидел на корточках, притулясь к железной печке-временке, и, прижав к уху телефонную трубку, чему-то задумчиво улыбался. Огонек «катушки» — сплющенной снарядной гильзы — освещал улыбавшееся лицо Алферова и спавших вповалку на полу людей.

Увидя входящее начальство, Алферов положил трубку, стряхнул с плеч полушубок, нахлобучил ушанку, вытянулся в струнку и стал докладывать.

— За дежурного самого себя оставили? — спросил Серпилин, выслушав доклад.

— Так точно. Решил: пусть поспят. А мне не спится.

— С кем говорили? — спросил Серпилин. — Возьмите трубку, договаривайте, раз начали.

По смущенному виду командира роты ему показалось, что тот вел новогодний, неслужебный разговор. Может быть, с каким-нибудь знакомым санинструктором, хотя Цветков стремился обходиться в полку без женского пола и у него санинструкторы — почти все мужчины.

— Я ни с кем не говорил, товарищ генерал, — сказал Алферов. — Я песню слушал.

— Вон как! — удивился Серпилин. — Объясните, недопонял.

— У нас тут есть одна связистка на промежуточной, — сказал Алферов, с опаской покосившись в сторону

командира полка, — очень поет хорошо. Иногда, когда она ночью дежурная бывает, мы ее по линии спеть просим.

Серпилин перехватил взгляд Алферова и повернулся к Цветкову. Цветков смотрел на своего командира роты со смешанным выражением свирепости и удивления. От удивления брови Цветкова поднялись так высоко, что казалось, сейчас сорвутся с лица и улетят.

— И какие же она песни поет? — спросил Серпилин.

— Разные, товарищ генерал, — сказал Алферов. — Сейчас «Землянку» мне пела. — И опять покосился на Цветкова.

— Хорошая песня, — сказал Серпилин. — Может, ее и нам с командиром полка можно послушать?

Алферов неуверенно посмотрел на него, не шутит ли; увидел, что не шутит, и взял трубку.

— Селиверстова, а Селиверстова... Селиверстова... Давай еще спой. — Он вопросительно посмотрел на Серпилина: сказать, для кого придется петь, или не говорить?

Серпилин покачал головой: «Не надо».

— Спой, Селиверстова, — просительно повторил Алферов, — только сначала, а то меня тут прервали.

И, подождав несколько секунд, подался в сторону и передал трубку Серпилину.

Серпилин услышал доносившийся сквозь хриплые потрескивания молодой женский голос:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...

Он любил эту песню, потому что было в ней, и в музыке, и в словах что-то особенное, щемящее солдатскую душу и до того простое, что проще не скажешь.

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага...

«Вот именно, четыре шага, а то и два и один».

Почему-то сегодня он думал о смерти больше обычного, не о своей смерти, а вообще о людской.

Он вздохнул и перед последним куплетом протянул трубку Цветкову:

— Послушай и ты, как у тебя в полку поют.

Цветков взял трубку, как змею, и недовольно приложил ее к уху. По выражению его лица было ясно, что ни качество пения, которое его мало интересует, ни либеральное отношение командира дивизии к такому нарушению порядка не смогут переменить его последующего образа действий, — Алферову все равно потом достанется на орехи за то, что занимал линию разной чепухой. Командир дивизии может позволить себе мягкосердечие, ему что — посидит да уйдет, а Цветкову надо оставаться и блюсти порядок в своем полку, и никто, включая командира дивизии, не может ни лишить его этого права, ни освободить от этой обязанности.

Серпилин потрогал ладонью крохотную железную печурку — она была совершенно холодная.

— Бедно живешь, студент, — сказал он Алферову.

— Каждая щепка на счету, товарищ генерал, экономим. Подтапливаем, когда уж терпеть нет возможности.

Серпилин назвал его студентом потому, что он и в самом деле был недоучившийся студент, кончивший краткосрочные курсы младших лейтенантов и попавший на фронт прямо с курсов в июле в самую кашу.

Алферов не был тогда в их дивизии и забрел в нее случайно, когда с несколькими бойцами из своего взвода без оружия бежал куда глаза глядят. Бежал и нарвался на Серпилина, который поставил его по стойке «смирно» и спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

— Вы кто, командир Красной Армии или трус, спасающий свою шкуру? Отвечайте: кто вы?

Вот тогда-то он и сказал дрожащими губами ту нелепую, запомнившуюся Серпилину фразу:

— Я вчерашний студент, товарищ генерал.

Он сам хорошо помнил ту минуту и знал, что Серпилин тоже помнит ее, потому что командир дивизии уже не впервые, встречая его, называл студентом.

Но сейчас он не стыдился той минуты, о которой они оба помнили, потому что знал — он сейчас уже не тот, каким был тогда, и на груди у него новенький орден Красной Звезды, полученный за ноябрьские бои. И командир дивизии видит этот орден, и не только видит, но и сам подписал наградной лист на него.

А Серпилин, глядя на этого студента, теперь лейтенанта и командира роты, радовался, что не расстрелял тогда перепуганного мальчишку, хотя вполне могло случиться, что и расстрелял бы. Обстановка была такая, что миндальничать не приходилось.

Цветков положил трубку и, напоминая о себе, негромко кашлянул.

— Ума не приложу, что нам с топливом делать, — сказал Серпилин, кивнув на времянку. — Только и остается одно — Сталинград поскорее...

Он не договорил, потому что, глухо отдавшись в землянке, до них донесся слитный звук нескольких почти одновременных разрывов.

— Выйдем, послушаем, — сказал он Цветкову, — наши или немцы дурака валяют.

Как только вышли на воздух, сразу стало ясно, что это на участке барабановского полка, за три километра отсюда. Разрывы были частые; судя по звуку, рвались немецкие мины. Потом в грохот разрывов вплелись пулеметные очереди.

Что немцы предприняли ночную вылазку, не верилось. У них было не подходящее для этого настроение.

«Наверное, что-нибудь непредусмотренное творит сам Барабанов, а немцы бьют по нему», — с дурным предчувствием подумал Серпилин и, не возвращаясь в землянку, пошел вместе с Цветковым в штаб полка, чтобы оттуда связаться с Пикиным и узнать, в чем дело.

По дороге в штаб полка, продолжая прислушиваться к разрывам и стрельбе, Серпилин все больше укреплялся в первой пришедшей в голову мысли: Барабанов по случаю Нового года задумал отличиться и взять неудобно торчавшую перед фронтом полка высотку, которую в дивизии звали «Бугор», а в полку за ее вредность — «Чиряк». Стремясь поскорее проявить себя как командир полка, Барабанов уже несколько раз домогался разрешения взять ее, но Серпилин не разрешал, придерживал.

Пока добрались до Цветкова, бой уже стих. Рвались только одиночные мины.

Серпилин соединился с Пикиным, не ожидая ничего хорошего. Но то, что он услышал, привело его в бешенство. Пикин сказал своим ровным скрипучим голосом: он только что говорил с начальником штаба барабановского полка Туманяном, и Туманян доложил, что он удерживал Барабанова в штабе полка, но тот, сильно выпивши, ушел в батальон, ничего не сказав о своих намерениях, и там, очевидно, напившись еще больше, решил ради праздника захватить Бугор. Бугор не захватили: сперва напоролась на минное поле, потом были накрыты минометным и пулеметным огнем и кое-как отошли, понеся потери, какие — еще неизвестно. Но командир батальона убит, это уже известно.

— А Барабанов? — крикнул в трубку Серпилин.

— Жив-здоров, но в полк еще не вернулся.

— Где Левашов? — снова сердито крикнул в трубку Серпилин. — Замполит где, Левашов? Где его совесть?..

Пикин ответил, что о Левашове ему не доносили. Сейчас он узнает, где Левашов, и позвонит.

— Не надо, — сказал Серпилин, — я сам туда поехал. — И положил трубку.

По дороге в барабановский полк ему не повезло. Машина юзом пошла по наледи, чуть не опрокинулась и заехала в воронку от бомбы, так глубоко, что втроем не вытащить.

Выругав шофера и оставив его искать людей и вытаскивать машину, Серпилин с ординарцем пошли пешком.

Там, у Барабанова, по-прежнему с промежутками в три-четыре минуты рвались одиночные мины. Немцы то ли хотели помешать вытащить раненых, то ли просто нервничали.

Когда Серпилин добрался до штаба полка, Барабанов был там. Он уже знал от Пикина, что командир дивизии скоро прибудет, и в ожидании топтался у входа в свою землянку.

Увидев Серпилина, он пробежал несколько шагов навстречу и, вытянувшись, стал докладывать. Руку при докладе не приложил, а уткнул в ушанку, чтобы не двигалась, пытаясь — подлец — делать вид, что не пьян. Стоял навытяжку, живой, здоровый, без единой царапины, не замечая, что хотя рука не дрожит, но самого поводит то в одну, то в другую сторону.

«До чего напился, — с отвращением подумал Серпилин, — до сих пор хмель не вышибло!» И, прервав бессвязный доклад Барабанова, обратился к хмуро стоявшему рядом с Барабановым начальнику штаба майору Туманяну:

— Доложите вы.

Туманян доложил подробности. Убит командир батальона капитан Тараховский, больше убитых нет. Но раненых одиннадцать, и есть тяжелые; повезли в медсанбат, но неизвестно, довезут ли живыми. Тараховский, когда подорвались на минном поле, был еще жив. Барабанов вынес его оттуда на себе, а умер Тараховский, уже когда тащили сюда на волокуше.

— Вон он лежит, — показал Туманян.

Он был вообще мрачный, неразговорчивый человек, а сейчас, рассказывая, выдавливал слова по одному, медленно и угрюмо, переживая случившееся.

Серпилин с минуту смотрел на мертвого. Потом разогнулся и посмотрел на Барабанова, который тоже подо-

шел к волокуше и стоял рядом, ожидая последствий. Как ни был пьян, а что последствия будут, понимал.

Увидев, что Серпилин смотрит на него, Барабанов попытался сказать что-то, казавшееся ему необходимым и достойным, насчет того, что ответственность целиком на нем. Но Серпилин посмотрел на него с такой ненавистью, что он смолк на полуслове.

— А где замполит? — Серпилин повернулся к Туманяну.

— Контужен, — сказал Туманян.

— Контужен! — с новым приливом гнева воскликнул Серпилин. — С ним ходил? — ткнул он пальцем в Барабанова.

Туманян объяснил, что замполит Левашов был в другом батальоне, но подоспел, когда стали вытаскивать раненых. Хотел убедиться, всех ли вытащили, и при разрыве одиночной мины был контужен.

— А раненых всех вынесли?

— Всех.

— Всех до одного?

— Я лично проверил, — взмахнув руками, вмешался в разговор Барабанов.

Но Серпилин, не глядя на него и обращаясь к Туманяну, повторил свой вопрос.

— Так точно, — сказал Туманян. — Из батальона донесли, что всех.

— А вы лично проверьте, — сказал Серпилин. — Не он, а вы лично проверьте. И мне донесите.

Потом, по-прежнему не глядя на Барабанова, добавил со свирепым спокойствием, за которым чувствовался душивший его гнев:

— Майора Барабанова от командования полком отстраняю. Исполнять обязанности командира полка приказываю вам. Барабанова отправьте спать, а через два часа, когда проспится, пришлите в штаб дивизии. Вопросы ко мне есть?

— Батальонного комиссара Левашова хотели в медсанбат вывезти, а он отказался, пока вы не приедете, хотел вас видеть.

— Вот еще, ей-богу... — рассердился Серпилин. — Не могли раньше сказать!

— Не считал возможным, товарищ генерал, перебить вас.

— Ну вот, теперь вы мне еще дисциплинарный устав разъясните! Где Левашов?

— У себя в землянке.

— Можете не сопровождать, — сказал Серпилин, видя, что Туманян двинулся за ним. — У вас поважней дела есть.

Когда он, уже подойдя к землянке замполита, оглянулся, Туманян все еще стоял на месте, наверно, что-то обдумывая в связи со свалившимися на него новыми обязанностями.

«Да поворачивайся ты хоть сейчас! Ну не на третью, так хоть на вторую скорость переиди!» — готов был крикнуть Серпилин этому умному и дельному, но слишком неторопливому человеку, который, не будь он таким канительным, давно бы уже, и по справедливости, сам командовал полком.

Туманян, словно услышав мысли Серпилина, наконец повернулся и двинулся своей медленной медвежьей походкой, а Серпилин открыл дверь и вошел в землянку.

Замполит полка Левашов лежал на топчане. При виде Серпилина он сдернул с головы и бросил на пол что-то белое, спустил с топчана ноги и вскочил. Но его сильно шатнуло. И он опустился обратно на топчан.

— Сиди, — удержал его Серпилин. — Чем лечишься? — И, по лицу Левашова поняв, что тот не услышал вопроса, повторил громче: — Чем лечишься?

— Холод прикладываю, — сказал Левашов; по лицу его текла вода. На полу лежала свернутая в несколько раз, набитая таявшим снегом рубаха.

— Мозги простудишь, — сказал Серпилин. — Поезжай в медсанбат. Там знают, что делать. Если контузия легкая — отлежишься и вернешься.

— Я поеду, — послушно сказал Левашов, — полежу, сколько скажут. Я вас хотел дождаться.

— Слушаю тебя, — сказал Серпилин, не упрекая Левашова за то, что отказался сразу ехать в медсанбат. Раз, несмотря на боль, которую, судя по лицу, еле переносит, все же отказался, значит, была причина.

— Товарищ генерал, я вам лично хотел сказать: у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь не хочешь, а надо этот Бугор добить. И чем скорей, тем лучше. Стыдно и совестно перед солдатами. Злоба у них против немцев...

— И против вас тоже.

— И против нас.

— Это и хотел мне сказать?

— Да.

— Как же ты допустил, а, Левашов? Как же вы с Барбановым в такую минуту в разных батальонах оказались?

— Моя вина, — сказал Левашов. — Надоело с ним, с пьяным, возиться, слушать его ахинею: «Не уважаешь меня, замполит... Не пьешь со мной, замполит. Раз не пьешь, значит, политдонесение на меня готовишь!» Плюнул на него, дурака, и ушел в батальон.

— Обиделся?

— Обиделся.

— Ты обиделся, а люди пострадали. Политработникам нельзя обижаться.

— Я это знаю, — горько сказал Левашов.

Его красивое лицо было бледным, без кровинки, а обычно веселые, отчаянные глаза прищурились от боли.

— Ну ладно, Левашов, — встал Серпилин. — У меня служба. Надо еще по начальству доносить о ваших художествах.

Он протянул Левашову руку, и тот, крепко стиснув ее, настойчиво, умоляюще сказал:

— Прикажите нам взять Бугор, товарищ генерал. Если набьем там фашистов, то все же у людей меньше осадка останется! И Тараховского там, на Бугре закопаем.

Когда Серпилин вышел из землянки и подошел к машине, Барабанов все еще стоял там, ожидая его.

— Товарищ генерал-майор! — шагнув к Серпилину, воскликнул Барабанов.

Но Серпилин ничего не ответил.

«Убийца чертов!» — подумал он, уже сев в машину и в последний раз увидев лицо пытавшегося еще что-то крикнуть сквозь заиндевевшее стекло бывшего командира полка Барабанова.

Вернувшись к себе, Серпилин позвонил командующему армией, чтобы доложить о случившемся и о произведенном им отстранении командира полка.

По укоренившейся привычке без отлагательств докладывать и о хорошем, и о дурном позвонил сразу же, едва войдя в землянку.

Командующий спал, да и немудрено: было рано.

— Будить? — спросил адъютант.

— Нет, доложите, когда проснется, что звонил.

Сам он спать не мог и не пробовал ложиться. Перед глазами стояло лицо убитого командира батальона, не мертвое, залепленное замерзшей кровью, запрокинутое на волокуше, а живое, улыбающееся, когда ему вручали за ноябрьские бои орден Красного Знамени.

«Всего-навсего позавчера!»

Вспомнив об этом, Серпилин взял из папки заготовленное, но еще не подписанное представление на убитого комбата, лежавшее там вместе с выпиской из послужного списка.

«Не дожил, бедняга, до нового звания».

Из выписки можно было узнать, что капитану Тараховскому, который сегодня, как выражаются писаря,

«убыл из дивизии по причине смерти», было 32 года от роду, что родом он из Нижнешадрина на Енисее, до службы в армии был промысловым охотником, в армии прослужил 11 лет, имел жену и пятерых детей.

— Успел! — укоризненно вслух проговорил Серпилин.

Пятеро детей, которых так некстати успел завести Тараховский, делали пьяную удадь Барабанова еще подлей.

«А все я! — подумал Серпилин. — Надо было сперва ехать не к Цветкову, а к Барабанову».

Он положил кулаки на стол и тяжело задумался.

Если уж брать на себя часть вины за случившееся, дело заключалось не в том, куда он поехал сначала, а куда потом.

Еще неделю назад ему стало ясно, что на Барабанова как на командира полка трудно положиться, в общем-то, и замена под рукой — Туманян. И, однако, Барабанов до сего дня оставался командиром полка.

Почему?

Тут было две правды: да, его, Серпилина, не могли упрекнуть в том, что он любитель спихивать на чужую шею выпавшие на его долю неудачные кадры, хватало характера самому мучиться с ними, — это была первая, утешительная, правда. А другая, неутешительная, состояла в том, что он своими слишком поспешными настояниями убрать Барабанова не хотел портить отношений с командующим армией, и так сложившихся не лучшим образом. До своего назначения на полк Барабанов полтора года был адъютантом у Батюка и выходил с ним из двух окружений, в первый раз спас его, а во второй раз был спасен им. Серпилин понимал цену стоявшей за этим привязанности и не считал ее слабостью командующего. Слабостью было другое: что Батюк уступил просьбе своего любимца и, присвоив Барабанову майора, отправил его на полк — «расти», хотя командовать полком Бара-

банов не мог и начинать «расти» ему надо было с другой должности.

— Бери его к себе командиром полка, не раскаешься, — сказал Серпилину командующий.

Это была просьба-приказ, и Серпилин подчинился тогда этой просьбе-приказу, а потом, когда уже стало ясно, что Барабанов командует полком безграмотно, не поставил сразу же вопрос о его несоответствии занимаемой должности — отложил.

Барабанов был из тех людей, что стремятся возместить храбростью все, чего им не хватает. Это опасные люди. Он был неумен, храбр, властен и нетерпим к чужим мнениям. Кроме того, он пил.

В неподписанном представлении на Тараховского было сказано: «Смел и инициативен».

«Да, инициативен, — подумал Серпилин, — и не раз доказал это, командуя батальоном. А вот на то, чтобы удержать командира полка от пьяного безумства, инициативы не хватило!.. А как удержать? — подумал он, реально представив себе всю картину происшедшего ночью в батальоне у Тараховского.

Удержать силой? Но Барабанов, не задумываясь, вытащил бы пистолет! Разоружить и позвонить через его голову в дивизию? Но Барабанов наверняка ссылался на то, что у него есть приказ из дивизии. Потребовать письменного приказа и в ответ получить в лицо труса? “Ладно, трус, сиди на КП, я сам, без тебя пойду!” Не любят у нас этого, и легче всего толкнуть человека на любую нелепость, швырнув ему в лицо — “трус”. К сожалению, так. И этим пользуются такие, как Барабанов, и рангом ниже, и рангом выше... Да, чего-то не хватило у Тараховского, чтобы удержать Барабанова. Вместо этого пошел с ним и погиб... Мертвые сраму не имут!»

«А я сам, — вдруг подумал Серпилин о себе, — мы сами? У самого-то всегда ли хватает всего, что надо в таких случаях?»

Барабанов вошел в перетянутом новыми ремнями коротком черном полушубке, прикрыл за собой дверь и, вытянувшись, отрапортовал о прибытии.

Серпилин со злостью посмотрел на знакомый черненький полушубок, в котором Барабанов продолжал ходить, несмотря на полученное неделю назад замечание, что он демаскирует этим на передовой не только себя, но и других. В этом идиотском упрямстве была вся натура Барабанова.

Лицо Барабанова было наглое и несчастное. Серпилин встал, поправив сползший с одного плеча полушубок. Печку топили не досыта даже в блиндаже у командира дивизии.

— Докладывайте о ваших... — Серпилин хотел охарактеризовать то, о чем должен был доложить Барабанов, но так и не нашел слов: на язык лезла только матерщина. — Ну?

Барабанов стал докладывать, а Серпилин, не глядя на него, ходил по землянке и думал, что, судя по докладу, Барабанов еще мечтает выкрутиться.

«Надеется на командующего или на то, что не захочу к невыгоде для себя раздувать историю, случившуюся в дивизии».

Так это было или не так, но ему захотелось разом положить конец надеждам Барабанова.

— Если рассчитываете, что не дам делу полного хода, ошибаетесь, — сказал он, прервав Барабанова.

— Я ни на что не рассчитываю, — сказал Барабанов, — я кровью смою свой грех, только дайте возможность.

Да, конечно, оставшись командиром полка, Барабанов, чтобы смыть свой грех, завтра же полезет в любое пекло, и полезет не один, а потащит за собой людей, за которыми нет грехов и которым нечего смывать с себя.

Эта мысль не дала Серпилину смягчиться, хотя готовность Барабанова ради искупления греха пойти на смерть не вызвала у него сомнений.

«В штрафном батальоне, с винтовкой в руках будешь смывать свой грех», — хотел сказать Серпилин, но, хотя он твердо решил сделать для этого все, что потребуется, окончательное решение зависело не от него, и он не мог позволить себе бросать слова на ветер. Поэтому промолчал.

— Разрешите продолжать? — тяготясь наступившим молчанием, спросил Барабанов.

— Продолжайте.

Когда Барабанов доложил все, от начала до конца, от того, сколько он выпил, вернувшись в полк, и до того, как он лично на спине вытащил из огня Тараховского, Серпилин спросил:

— Когда организовывали атаку, ссылались на мой приказ?

И по крошечной паузе, которую сделал Барабанов перед тем, как сказать «нет», понял: ссылался! Ссылался потому, что был пьян; в трезвом виде он слишком военный человек, чтобы пойти на это.

— В ответ на возражения Тараховского обзывали его трусом?

— Не помню, — сказал Барабанов. Потом посмотрел в глаза Серпилину и сказал: — Обзывал.

Встретясь глазами с Барабановым и очутившись во власти пришедшей в голову неожиданной мысли, Серпилин подошел к столу и, перевернув свой лежавший на столе блокнот, пододвинул его к Барабанову:

— Садитесь за стол и пишите.

— Что писать, товарищ генерал? — спросил Барабанов, беря карандаш багровыми, опухшими пальцами.

«Обморозил сегодня ночью», — мельком подумал Серпилин, взглянув на эти пальцы.

По лицу Барабанова видел: думает, что ему предстоит сейчас писать объяснение на имя командира дивизии; ему и в голову не приходит, что речь идет совсем о другом.

— Пишите лично, своей рукой похоронную жене Тараховского. Пишите, как вы убили ее мужа... Ей и пятерым ее детям... Что смотрите на меня?

Но Барабанов продолжал молчать и смотреть в лицо Серпилину, с силой сжимая карандаш в своих обмороженных пальцах.

То, что сказал ему Серпилин, было невероятно, не лезло ни в какие ворота.

— Как же так — написать, что я убил? Что я, Петрушка, что ли? Лучше трибунал, что хотите, — наконец сказал сильно побледневший Барабанов.

Но Серпилин, которому мысль — заставить Барабанова лично написать письмо жене убитого — пришла совершенно внезапно, не собирался отказываться от нее. Мысль была жестокая, но справедливая.

— Не могу я написать, что я его убил, товарищ генерал, — побледнев еще больше, повторил Барабанов.

Лицо Серпилина оставалось спокойным, и от этого Барабанову стало еще страшнее.

— Я не требую, чтобы вы писали именно эти слова, — помолчав, сказал Серпилин. — Вы просто опишите его жене, — он пододвинул по столу к Барабанову выписку из послужного списка Тараховского, — и детям все, как было. А они уж сами сделают вывод, кто его убил, вы или немцы, если честно напишете... Что смотрите на меня?.. Я не шучу.

Барабанов инстинктивно придвинул к себе документы Тараховского, увидел графу «семейное положение» и, вдруг почувствовав, как у него темнеет в глазах, выпустил из пальцев карандаш и поднялся. Грубый и сильный человек, он был близок к обмороку от испытанного душевного потрясения.

— Товарищ генерал, даю вам честное слово, я напишу, но разрешите поехать к себе в полк, не могу при вас... — сказал Барабанов мертвым голосом.

— Не можете, — сказал Серпилин, — а по делу надо было бы вас заставить не только вдове комбата написать,

а и семьям тех солдат, которых вы ни за понюшку табаку загубили. Уже звонили из медсанбата, докладывали, что трое умерли. — Он пригасил свой вновь вспыхнувший гневом голос. — Можете идти.

Барабанов откозырял непослушной, ватной рукой и пошел к двери, но у самой двери повернулся.

— А что потом с письмом? — растерянно спросил он. До сих пор он думал только о том, как будет писать это письмо; мысль — что потом? — пришла ему в голову лишь теперь.

— Пошлем ей, — сказал Серпилин.

— Да разве можно в тыл такое письмо? — крикнул Барабанов.

— А что ж, — сказал Серпилин, — вы будете творить тут у всех на глазах такие дела, а там, в тылу, никто ничего не должен знать об этом?

Несмотря на все свое волнение, Серпилин знал, конечно, что никакая военная цензура не пропустит в тыл такое письмо, да и, не будь цензуры, он сам бы не отправил: это было невозможно.

Но Барабанов все равно должен был написать это письмо.

— Идите, у меня все!

Барабанов молча повернулся и вышел.

3

Когда в десятом часу Серпилин доложил по телефону командующему об отстранении Барабанова, Батюк горестно выругался, согласился с отстранением командира полка впредь до разбора дела и оборвал разговор, сказав, что сейчас у него будут гости; он сам позвонит после их отъезда.

«Наверное, командующий фронтом приехал», — подумал Серпилин и вызвал к себе Пикина.

После того как Сталинградский фронт в декабре остановил и разбил под Котельниковом шедшую на выручку Паулюсу армейскую группу Гота и пошел дальше к Ростову, в армиях, окружавших Сталинград, началась подготовка к штурму. Операция предполагалась с решительным исходом, все войска были объединены в одних руках, подчинены Донскому фронту, и на фронте сидели представители Ставки.

У Серпилина, как и в большинстве дивизий, был свой план боев местного значения, которые предстояло провести, чтобы улучшить исходное положение перед общим наступлением.

Треклятым Бугром, где разыгралась сегодняшняя драма, предполагалось заняться через три-четыре дня, но Левашов прав: после случившегося в первую очередь надо покончить именно с этим Бугром. Теперь в этом есть не только тактическая, но и психологическая потребность.

— Ну, что скажешь, Геннадий Николаевич? — спросил Серпилин, когда злой, невыспавшийся Пикин появился у него в землянке со своей вечной папкой под мышкой.

— Барабанов — стервец! А Тараховский — размазня, был о нем лучшего мнения.

— Полегче о мертвых.

— Ничего, с того света не услышит! — непримиримо сказал Пикин. — Обязан был взять трубку и доложить: командир полка пьян и толкает меня на авантюру!

— Верно, Геннадий Николаевич. Верно, и, казалось бы, чего проще. Но прежде чем других судить, иногда подумаешь: а если на самого себя в зеркало взглянуть?

— А я каждое утро, когда бреюсь, гляжусь! — сказал Пикин. По резкости его ответов чувствовалось, как он тяжело переживает случившееся, но у каждого своя натура.

— Ладно, оставим это, — сказал Серпилин. — На Тараховского все равно живой водой не брызнешь, а вот на его батальон, на полк? Что думаешь по этому поводу?

— Надо брать Бугор. Я потребность в огне уже прикинул, — сказал Пикин, открывая свою папку.

И Серпилин обрадовался, что они опять, как это уже не раз случалось, порознь, не сговариваясь, пришли с начальником штаба к единому мнению.

Они около часа работали вдвоем, обдумывая предстоящий бой, потом Пикин ушел, а Серпилин уже собрался было прилечь на часок поспать, как вдруг затрещал телефон и Туманян доложил, что майор Барабанов застрелился у себя в землянке.

— Сейчас еду к вам, — сказал Серпилин и положил трубку.

Потом снова взял ее и позвонил в армию. Командующего не было на месте, начальника штаба тоже. В конце концов, он дозвонился до члена Военного совета, бригадного комиссара Захарова.

— Слышал о ваших делах, — сказал Захаров.

— Это еще не все, — сказал Серпилин, преодолев желание сперва съездить в полк, а потом уже докладывать. — Барабанов застрелился. Еду в полк.

— Вот дурья башка! — охнул в трубку Захаров. — Как это случилось?

— Не знаю.

— А где Бережной?

Серпилин объяснил.

— Ладно, езжай в полк, — сказал Захаров. — Командующему сообщу, но он еще долго будет занят, а я приеду часа через два. Уже вернешься?

— Вернусь.

Всю дорогу в полк Серпилин ехал в машине молча, думая о том, что хотя Барабанова и не любили в полку, но то, что он застрелился, все равно произведет на людей тяжелое впечатление.

Он и теперь, после всего случившегося, не калялся в том, что приказал Барабанову писать это письмо. Он был виноват в другом — в том, что не поставил в свое вре-

мя вопрос о снятии Барабанова с полка. Было ясно, что надо ставить, а он не поставил. С этого все и началось.

Он вошел в землянку Барабанова, ожидая увидеть там его тело. Но в землянке валялся на койке только черный полушубок Барабанова да на затоптанном валенками полу темнело пятно крови. Туманян доложил, что уже после того, как он позвонил, в Барабанове обнаружили признаки жизни, и его увезли в медсанбат.

— Ну и что? — быстро спросил Серпилин.

— Еще не знаем.

Серпилин сел за стол и приказал соединить себя с медсанбатом. Держа в руке трубку и дожидаясь, когда его соединят, он смотрел на лежавший посреди стола неподписанный лист бумаги.

«Уважаемая Варвара Аммосовна, — было написано там. — Как командир полка должен известить вас и вашу семью о постигшем вас горе. Ваш муж, капитан Тараховский Николай Константинович, пал сегодня в ночном бою смертью храбрых. Я лично, как командир полка...» На этом письмо Барабанова обрывалось. Он так и не смог написать, что же сделал он «лично, как командир полка...». Предпочел умереть, чем объяснить это.

Голос из медсанбата был еле слышен. Со связью, как назло, не ладилось. Серпилин назвал себя и спросил, как положение с Барабановым. Он не сразу понял слово, которое ему несколько раз повторяли, и только потом понял: «извлекают».

Операция только началась. Значит, почему-то дальше, в госпиталь, не повезли. Решили делать в медсанбате.

— Пулю извлекают, — сказал Серпилин Туманяну и еще нескольким столпившимся в землянке офицерам. — Может, еще выживет. — И, приказав, чтоб ему позвонили, когда закончится операция, положил трубку.

Туманян, как всегда неторопливо, начал излагать подробности — как он вошел, как увидел лежавшего на полу Барабанова, как крикнул ординарца, как они под-

няли и положили Барабанова на койку, как он сначала позвонил Серпилину, а потом уже прибежала врачиха и обнаружилось, что Барабанов еще жив.

— А где она? — спросил Серпилин о враче.

— С ним в медсанбат поехала, — сказал Туманян. — Совсем с ума сошла женщина! — На его угрюмом, длинноносом лице впервые за все время выразилось волнение.

Серпилин ничего не ответил. Он знал, что Барабанов был холост, жил, как с женой, с уже немолодой — старше его — врачихой из полевого госпиталя, которая, когда он пошел на полк, тоже добилась перевода сюда.

— Долго он лежал тут, пока вы не вошли?

Туманян пожал плечами:

— Не знаю.

Серпилин пробыл в полку час, отдавая распоряжения, имевшие отношение к предстоящему бою за Бугор, потом посмотрел на часы и заспешил в дивизию.

Из медсанбата позвонили уже перед самым его отъездом, сказали, что пуля извлечена, но состояние пока тяжелое, поручиться за жизнь нельзя.

Когда Серпилин вернулся к себе, Захаров еще не приехал. Бережной тоже не возвращался, из Зубовки уехал, а в медсанбат не прибыл, и неизвестно было, где его искать. Вполне возможно, что решил десяток километров протопать вместе с пополнением. Это в его натуре.

«Вот уж кто будет переживать!» — подумал Серпилин, пожалев, что с ним рядом нет сейчас Бережного.

«Все-таки вместе было бы легче говорить с Захаровым. Второй самоубийца на моей душе. Тогда Баранов, теперь Барабанов».

Он мысленно поставил эти имена рядом, по вдруг поразившему слух созвучию, хотя ничего общего, кроме созвучия имен, не было ни между этими двумя людьми, ни между обстоятельствами, в которых они оба сделали это.

Тогда, в сорок первом, солгал вдове Баранова: «Пал смертью храбрых...» Теперь лгать некому и незачем! Эта

врачиха, которая сейчас там, в медсанбате, все сама знает о своем Барабанове, и хорошее, и плохое. Может быть, сегодня ночью даже и пила вместе с ним, а он перед ней кочевряжился, а потом полез на передовую... А может, и нет. Левашов говорил про нее, что она оказывает на Барабанова хорошее влияние.

— Некому и незачем, — вслух повторил он.

«Как так некому? А вдове Тараховского? А семьям тех солдат, что были тяжело ранены и умерли в медсанбате, тоже ведь будем писать, что пали смертью храбрых, как говорится, не вдаваясь в подробности... И ничего другого не сделаешь и нельзя сделать».

Он снова вспомнил о Баранове и задумался: почему столько людей тогда, в сорок первом, растерялись, не выдержали?

Говорят, если водолаза сразу, одним махом, без остановок погружают на всю глубину, то кровь ушами идет. Так и с людьми на войне. Один выдерживает, а у другого кровь ушами идет, если сразу опустить на всю глубину ответственности... Сейчас стали победы одерживать, но война все равно никогда не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в приказе букву — а кто-то умер. Провел сантиметр по карте — а кто-то умер. Крикнул в телефон командиру полка: «Нажми», — и надо крикнуть, обстановка требует, — а кто-то умер... Закончил в июне месяце генерал-майор Серпилин формирование своей дивизии, девять тысяч человек... А сколько из них осталось в строю на нынешний день? Да и не за девять тысяч человек ответственность, а, считая детей, и жен, и матерей, у которых единственные и не единственные, пожалуй, за все сорок тысяч человек, если не больше, легла ему ответственность на плечи тогда, в июне сорок второго. И уже не в первый раз за войну, и до этого ложилась... Паскудное дело война, и самое паскудное, что раньше конца все равно не кончится. И каждая стрела на карте, и каждый

приказ — кому-нибудь смерть... «Так как же ты можешь, сволочь, в пьяном виде приказывать?» — со вновь вспыхнувшим против Барабанова гневом подумал Серпилин.

Но он не поддался этой вспышке гнева, и не потому, что она была несправедлива, а потому, что человек, ее вызвавший, был сам сейчас между жизнью и смертью, взял трубку и позвонил в медсанбат.

Хирург доложил, что Барабанов все еще не вышел из шокового состояния.

— Ясно. Позвоните мне сами, — сказал Серпилин.

Бригадный комиссар Захаров вошел в землянку один, без сопровождающих, выслушал рапорт, пожал руку Серпилину и стал расстегивать крючки полушубка. Полушубок не сразу скинулся с его грузных плеч — рука застряла в рукаве. Серпилин сделал шаг, чтобы помочь, но Захаров уклонился, отступил на шаг, поспешно сдирая с себя полушубок.

— Спасибо за гостеприимство, Федор Федорович, но неловко: ты годами старше меня.

Он повесил полушубок, снял ушанку, пригладил короткие волосы на седой круглой голове и сел напротив Серпилина.

— Откровенно говоря, повезло тебе, что мне, а не командующему докладываешь, — рвал и метал в телефон, когда от меня о самоубийстве услышал! Что, Бережного еще нет?

Серпилин ответил, что Бережного еще нет, и начал свой доклад с последнего звонка в медсанбат.

На лице Захарова откровенно выразалось все, что он чувствовал по ходу рассказа.

Бригадный комиссар Захаров не имел привычки скрывать свои чувства, не стеснялся думать вслух, а говорил, за редкими исключениями, то, что думал. Хотя они воевали вместе не так уж давно, Серпилину казалось, что он знает Захарова давно и хорошо не только потому, что Захаров много бывал в дивизии у Серпи-

лина, но и потому, что оба они, в общем-то, были люди одной судьбы. Один командовал в Гражданскую батальоном и полком, другой был политруком эскадрона, и оба протрубили в Красной Армии ровно столько, сколько она существовала. Правда, у Захарова не было четырехлетнего перерыва, как у Серпилина, но, хотя они никогда не говорили на эту тему, Серпилину казалось, что и Захарову с его прямым характером, наверное, нелегко дались те годы. Не зная ничего определенного, он думал о Захарове именно так, и ему было легче оттого, что сейчас, в невеселую минуту, напротив него сидел не кто-нибудь иной, а бригадный комиссар Захаров, которого в армии солдаты звали за глаза Костей за его открытую душу и всем очевидную храбрость и за то ощущение его близости к себе, которое русские люди выражают одним словом — «простой», вкладывая в это слово самый высокий и похвальный смысл.

Когда Серпилин дошел до того, как приказал Барабанову писать письмо, Захаров вздохнул и поморщился. Он предпочел бы не слышать этого.

Серпилин и сам понимал всю тяжесть для себя того, что он сейчас рассказывал Захарову. Умри Барабанов, и, нет сомнения, найдутся охотники сказать: глумился над командиром полка, довел до самоубийства. Могут и дело завести, и с дивизии снять...

Однако, как бы там ни обернулось в дальнейшем, Серпилин считал необходимым говорить все, как было, не ставя меру откровенности рассказа в зависимость от того, умрет или выживет Барабанов.

— В чем считаешь причину, будем пока говорить, попытки к самоубийству? — спросил Захаров, упорно молчавший, пока Серпилин не договорил до конца.

— Причина — мой разговор с ним.

— Если бы не удержался — под горячую руку дал ему в морду, пьяному дураку, такой, как он, легче пережил бы! — сказал Захаров.

— Этому не научен, — сказал Серпилин. — Меня били, я не бил, не признаю пользы этого.

— А от твоего разговора вышла большая польза! — сказал Захаров. — Человек мог бы еще воевать, а он пустил себе пулю...

— Не подумал о такой возможности.

— Плохо знаешь людей.

— Видимо, так, — сказал Серпилин, хотя был не согласен с тем, что плохо знает людей.

Захаров понял, что ответ не откровенен, и спросил:

— Значит, не рассчитывал, что совесть в нем заговорит?

— Не рассчитывал.

— А зачем же тогда письмо писать заставлял, если не рассчитывал? Ну, написал бы он тебе письмо и не застрелился, что б ты с письмом делал? В тыл ведь не послал бы?

— Не послал бы.

— Так для чего же заставил писать? Чтоб совесть в нем заговорила? Или так, или я тебя не понимаю! И не крути со мной, пожалуйста!

— А я не кручу с вами, товарищ член Военного совета... — начал было Серпилин, но Захаров прервал его.

— Брось, брось, слышишь, брось! — закричал он. — Я с тобой по-товарищески говорю, брось ты это со мной!

От гнева у него вздулись жилы на лбу.

— Я не кручу с тобой, Константин Прокофьевич, — тихо, уже без вызова повторил Серпилин. — В таких вещах не сразу сам разберешься. Конечно, подумал о совести. А о возможных последствиях — нет.

— Вот именно, — сказал Захаров. — А когда в человеке совесть с предохранителя соскочит, а особенно если она у него заржавелая, — тут все может быть. Ты не подумал, а теперь пойдет писать губерния... — Он неопределенно повел рукой. — Какое мнение имел, что делать с Барабановым, если бы... — Он не договорил. Все было ясно и без того.

— Трибунал и штрафной батальон, — сказал Серпилин. — Если бы свыше не спасли.

— Кто это «свыше»? Я, что ли? — спросил Захаров.

Серпилин пожал плечами и не ответил. Он сказал, его поняли, а называть вещи своими именами в данном случае не хотел.

— Да-а. Командир полка все-таки фигура, — сказал Захаров, встав и пройдясь по землянке.

Серпилин молчал.

— Что молчишь?

Не хотелось сейчас плохо говорить о Барабанове, но на прямой вопрос приходилось отвечать то, что думал.

— Вот именно — фигура, — сказал Серпилин.

— Да, — сказал Захаров. — А командующий говорил, что хорош был Барабанов в сорок первом, очень хорош; и в сорок втором, когда из харьковского окружения выходили, тоже себя проявил. Выходит, был хорош, а стал плох?

— Не знаю, — сказал Серпилин. — Наверное, и сейчас можно найти ему дело, на котором будет хорошо. Знаю одно: полком командовать не может. И клянусь себя, что не добился его снятия.

— Не добился! Ишь ты какой! — сказал Захаров. — А что, разве тебе такая власть дана — раз-два, и добился?

И хотя внешне то, что он сказал, было щелчком по носу Серпилина, на самом деле фраза его имела другой, более важный смысл: командующий был упрям и нетерпим и работать с ним было трудно не только Серпилину, но и Захарову.

— Все равно, — сказал Серпилин, — я обязан был ставить вопрос, раз так считал!

Захаров посмотрел на него, отвернулся и еще несколько раз прошелся по землянке взад и вперед.

Серпилин снял телефонную трубку. Звонили из медсанбата, у хирурга был довольный голос.

— Все в порядке, товарищ генерал. Из шокового состояния вышел, непосредственной опасности больше нет. Но, дело прошлое, еще бы на три миллиметра левее — все!

Серпилин положил трубку и глубоко вздохнул.

— Значит, жив, — сказал Захаров; он понял это по лицу Серпилина раньше, чем тот заговорил. — А не приходит тебе в голову, Федор Федорович, что у него рука не случайно ошиблась? Ответственности боялся, а до конца убить себя все же не захотел. Могло так быть?

— Нет, — сказал Серпилин. Сказал с уверенностью, потому что вспомнил мертвый голос Барабанова, которым тот просил отпустить его в полк. Тогда он не понял этого голоса, а сейчас вспомнил и понял. — Он солдат, а не шут гороховый. Стрелялся всерьез.

— Сейчас позвоню командующему, — сказал Захаров. — Если там ничего не горит, поедем с тобой в полки.

— Разрешите оставить вас? — спросил Серпилин.

— Если насчет обеда, — сказал Захаров, — в полку пообедаем.

— Разрешите, я сейчас вернусь? — повторил Серпилин, не вдаваясь в объяснения.

Он действительно хотел распорядиться насчет обеда, но если предстояло обедать не здесь, а в полку, то позвонить туда все равно было нелишнее.

Захаров махнул рукой и взялся за телефон.

Когда Серпилин через пять минут вернулся, Захаров стоял одетый.

— Поедем? — спросил Серпилин, в свою очередь надевая полушубок.

— Поедем, да только не куда собирались. — Лицо у Захарова было недовольное. — Командующий просил меня приехать и тебя с собой взять. Тебя в Москву вызывают. — Он, как показалось Серпилину, хотел добавить еще что-то, но удержался.

Захаров сел впереди, рядом с шофером, а Серпилин — на заднем сиденье один.

Ехали молча. Захаров, всю жизнь прослужив в армии, знал, конечно, что его водителя за тот час, пока начальство сидело в блиндаже, уже успели просветить. А все же возвращаться при нем к разговору о Барабанове не хотел.

О том, почему Серпилина вызывают в Москву, говорить тоже не приходилось. На вопрос Захарова по телефону — какая причина, Батюк коротко ответил: «Приедешь, объясню».

Лишний раз показал свой нрав, бурбон! А теперь Серпилин едет там, сзади, и зря обижается на него, Захарова.

А в самом деле, зачем вызывают? Не такая великая птица командир дивизии, чтобы перед боями перекидывать его с фронта на фронт через Москву. Да на это и не похоже, тем более что как раз сегодня с утра командующий фронтом завел разговор совсем о другом. Начальника штаба армии забирали на фронт на оперативное управление. Это было дело предрешенное. Командующий фронтом назвал кандидатуру для замены, но она не встретила сочувствия у Батюка.

— Ну что ж, — сказал командующий фронтом, — раз, как всегда, со стороны брать не хотите, подумайте о своих. Вот Серпилин у вас есть — командир дивизии, академик, считался когда-то у нас в академии одним из сильнейших на курсе. Подумайте о нем.

— Подумаю, — неопределенно сказал Батюк.

Чем закончился разговор, Захаров не знал: командующий фронтом забрал с собой Батюка, и они вместе уехали в только что прибывшую тяжелую артиллерийскую бригаду резерва Главного командования.

Но если даже дело решилось, все равно нет нужды вызывать Серпилина в Москву. Утвердят и заочно.

«Так чего ж его вызывают? Снимают в связи с самоубийством Барабанова? Но ведь уже известно и командующему по телефону сказано, что Барабанов, видимо, останется жив. А впрочем, по-всякому бывает!»

Захаров знал, как иногда такие дела вдруг черт его знает по каким каналам доходят до самого верха и за одни сутки разгораются в целый пожар. И хоть ты и член Военного совета, а, смотришь, все это мимо тебя свистит, как будто тебя и нет.

«Нет, тут уж я грудью стану, будь что будет», — сердито подумал Захаров.

Он снял ушанку, поерошил волосы и повернулся к шоферу. К долгому молчанию Захаров был неспособен, даже находясь не в духе.

— Николай, что солдаты в серпилинской дивизии про наступление говорят?

— Не успел узнать, товарищ бригадный комиссар.

— А вчера у Бухвостова, когда с тобой ночевали, чего там говорили?

— Говорили: через неделю должны мы ударить.

— А почему через неделю?

— Шоферы в сторону Камышина за концентратами ездили, говорят, много артиллерии РГК к фронту тянут.

— А почему все-таки неделя?

— А так располагают: пока дотянут, пока на позиции станут, пока приказ вручат — вот и неделя. А больше не располагают. Зачем ей зря стоять? Она же РГК — не только у нас требуется.

— А когда располагаешь Сталинград взять?

— Лично я?

— Лично ты.

— Хорошо бы к двадцать третьему февраля, к годовщине Красной Армии!

— Однако надолго ты операцию запланировал! — усмехнулся Захаров.

— Фрицы дольше брали.

Шофер, вывернув руль и едва не заехав правым задним в обочину, обогнул встречный тягач. «Эмка» с ревом, на первой скорости брала длинный подъем. Разговор оборвался.

Серпилину, все время видевшему впереди себя широкие, расправившие полушубок плечи Захарова, и в самом деле казалось, что Захаров знает, зачем его вызвали в Москву, но не хочет говорить. Вряд ли что-нибудь доброе. Если бы доброе, Захаров не выдержал бы, порадовал. Да и с какой стати ждать доброго? В конце концов, Серпилин утвердился в первой пришедшей ему в голову мысли, что командующий, не дожидаясь никаких разбирательств, собственной рукой дал делу полный ход и попросил убрать от него командира дивизии Серпилина. Батюк вообще, если в армии случалось неприятное происшествие, считал, что, наводя порядок, лучше поторопиться и перешерстить, чем недошерстить. И с точки зрения самосохранения до сих пор всегда оказывался прав.

«Только что-то уж больно быстро он на этот раз прокрутил, — подумал Серпилин. — Что ж, придется опять доказывать, что ты не верблюду».

К этому он был, положим, готов — голову гнуть не собирался. Но пока докажешь, из дивизии все равно выдернут, как зуб.

Он смотрел на дорогу и на все, мимо чего ехали, с особой остротой зрения, рождавшейся от мысли, что, может быть, придется проститься со всем этим.

Ледяная, разъезженная грузовиками дорога с накаланными до блеска буграми и впадинами, такими твердыми, смерзшимися, что кажется, их не взять никакой весне... Бойцы на грузовиках, с поднятыми воротниками полушубков, в надвинутых на самые глаза ушанках... Все-таки не подвело интендантство — хотя и с запозданием, но полушубков дало много, почти до полной потребности. С убитых, если не оставались под огнем на ничейной земле, а была возможность их подобрать и похоронить, полушубки снимали; клали в братские могилы в одном обмундировании. Это было в порядке вещей и не могло быть иначе, но сейчас Серпилин с печалью подумал об этом и даже зябко передернул плечами, словно это не их,

а его клали в ледяную, неглубокую могилу в одном обмундировании, без полушубка и валенок...

Невеселые для зимнего наступления места! Сколько видит глаз — ни одного населенного пункта. Все живое живет и мерзнет в землянках или приткнулось к редким развалинам, оставшимся после осенних боев. К таким, как вот эти двухметровые кирпичные стенки свинофермы, в полукилометре от дороги... Взяли ее в первый день ноябрьского наступления. Был здесь сутки НП дивизии, потом сутки КП, потом штаб артполка, тоже ушедшего вперед, а теперь уже месяц жил второй эшелон. Набилось там — один к одному, как сельдей в бочке, но держатся за это место: все же стены, да и близко от дороги.

На одном из встречных грузовиков везли знакомые ящики с концентратами.

«Опять пшениный, зарядили на всю неделю», — подумал Серпилин.

С харчами на фронте последний месяц было неплохо. А с топливом — бедственно. Телеграфные столбы в глубоком снегу поодаль от дороги — самые верные свидетели! К каждому протянулось от дороги по несколько цепочек следов. А у столбов для несведущего глаза странный вид. От подножия и на высоту поднятой человеческой руки все они — словно одинаково выточены на громадном токарном станке — кверху и книзу расширяются до нормальной толщины, а в середине обструганы до пределов возможного. На каждом оставлено ровно столько дерева, чтоб не сломался от ветра. И все это по ночам, когда нет постороннего глаза, натворили солдатские руки. Идет солдат ночью, свернет с дороги к столбу, сострогнет несколько щепок, сунет их в валенок и пойдет дальше. Огонь развести в такую зиму каждому хочется. А чем его разведешь, когда кругом ни дерева, а все, что можно было сжечь — и плетни, и заборы, и кизяк, и солому, — давно сожгли! Были и разъяснения, и взыскания, и приказы, подписывал их и Серпилин, но ничто не помогало. Жизнь брала свое...

Когда выехали из расположения второго эшелона дивизии, Серпилин невольно оглянулся, хотя никакой зримой границы, отделявшей расположение дивизии от других частей, не было, но он помнил ее, эту границу, и на местности, и по карте.

«Тяжело все-таки, если выдернут из дивизии», — снова подумал он.

...Это уже было с ним один раз, в феврале сорок второго. Бывают на войне такие вещи, когда ты считаешься виноватым, хотя ты и прав, и то, что ты прав, понимаешь не только ты сам, но и другие люди, которым положено считать тебя виноватым.

Тогда, в феврале сорок второго, его сняли с дивизии за то, что он не выполнил приказа и не взял к назначенному сроку районный центр Грачи, на границе Калужской и Брянской областей.

В сроке этом не было ровно никакого смысла, кроме одного-единственного: взятые у немцев Грачи должны были непременно попасть в вечернюю фронтовую сводку, а потом в утреннее сообщение Информбюро 23 февраля 1942 года — в День Красной Армии. А считалось это необходимым потому, что хотя зимнее наше наступление под Москвой уже выдыхалось и шло из последних сил, а местами и просто безо всяких сил, однако на самом верху считалось, что именно 23 февраля в сообщении должны появиться крупные населенные пункты.

Серпилина никто не спросил заранее, сможет ли он взять Грачи к этой дате. По общей обстановке считалось, что может, и, вообще-то говоря, немцы действительно сидели в этих Грачах, как на подрубленном суку, но, чтобы без особых потерь, грамотно подрубить этот сук, нужны были, по крайней мере, еще сутки. А вот этого и не пожелали знать ни заранее, ни тем более потом. Армия обещала Грачи фронту, фронт — Ставке, и от Серпилина потребовали, чтобы он хоть вылез из кожи, а взял Грачи к 24 часам!

Вылезти из кожи он был готов — он и так лез из кожи, — но бессмысленно класть в лобовых атаках свой лежавший в открытом поле в снегу перед Грачами полк он не хотел. И именно для того, чтобы взять эти Грачи, не теряя измотанных боями остатков полка, он сколотил два подвижных отряда и с одним из них даже протащил через лес на волокушах несколько пушек, чтобы закупорить лесную дорогу в тылу у немцев и заставить их бросить Грачи.

Но, оказывается, — ему так и сказали по телефону, — Родина требовала, чтобы он взял эти Грачи не тогда, когда он мог их взять, а на сутки раньше. В глубине души он знал, что Родина не может этого требовать: Родина может требовать от своих сыновей подвига, а не бессмысленной смерти.

Так он думал, хотя и не сказал этого, когда командующий армией потребовал от него взятия Грачей к 24 часам 22 февраля во что бы то ни стало. Он просто доложил по телефону о принятых им мерах и о том, что, по его расчетам, самое позднее через сутки немцы вынуждены будут сами начать поспешный отход, и он на их плечах ворвется в Грачи и заберет их целыми, не сожженными.

Командующий не мог не понимать, что это было правдой, и никакой другой правды не было и не могло быть. Он не мог этого не понимать: он был умный и, по убеждению Серпилина, талантливый человек, уже многому, как и сам Серпилин, успевший научиться за два с половиной месяца наступления. Но на этот раз он был глух и беспощадно настойчив.

— Или возьмете к двадцати четырем часам Грачи, или сниму с дивизии, — таков был конец их разговора.

«Ну и снимайте!» — хотелось крикнуть Серпилину в телефон. Он не крикнул этого, а сказал «слушаюсь», не только потому, что тяжело оказаться снятым с дивизии; еще тяжелее была мысль, что, если он откажется выполнить этот неразумный приказ, его отстранят, а заместите-

ля все равно заставят положить костями полк, лежавший в снегу перед районным центром Грачи.

Он сказал «слушаюсь» и не выполнил приказа. То есть отдал приказ об артиллерийской подготовке и сначала назначил для атаки один час, а потом переменял и назначил другой, более поздний, уже в темноте, чтобы понести меньше потерь. Он еще засветло под обстрелом пошел в лежавший на виду перед самыми Грачами батальон, перенес туда свой наблюдательный пункт и, пренебрегая опасностью, все время оставался там, чтобы подольше не разговаривать с армией, чтобы на все звонки отвечали: командира дивизии нет, находится в боевых порядках пехоты. Когда же подошел второй, перенесенный срок атаки, он на этот раз не отменил приказа, и несколько группок людей — это и было, в сущности, все, чем располагал батальон, — поднялись из снежных ям, где они лежали, продвинулись на полтора метра и снова залегли под немецким минометным огнем. Через полчаса Серпилину донесли, что немецкий огонь не подавлен и продвинуться дальше невозможно, и он приказал окапываться.

Подавить немецкий огонь ему было нечем, он заранее знал это: у него было всего по нескольку снарядов на орудие. Он, конечно, мог поднять остатки полка еще в несколько атак, продвинуться еще на сотню метров, уложить перед районным центром Грачи все, что осталось от полка, но как раз этого он и не хотел делать.

Незадолго до полуночи командующий все же добрался до него по телефону, нашел его там, в снегу, в поле, перед Грачами, где он лежал с командиром батальона.

— Почему не доносите о взятии Грачей?

— Потому что не взял, — сказал Серпилин.

— Это я понимаю. А когда возьмете? На окраину хоть, по крайней мере, ворвались? — домогался командующий.

Серпилин доложил, что нет, и на окраину не ворвался.

— Так когда же ворветесь? У вас, как у командира дивизии, остались считанные минуты! После двадцати четырех часов, если не будете в Грачах, вы уже не командир дивизии! Немедленно атакуйте!

Серпилин глубоко вздохнул и начал объяснять положение. Теперь, наверно, сложись такая обстановка, посчитались бы с очевидностью, а тогда, в феврале сорок второго, и слушать не захотели... Разговор оборвался. Обеспокоенные немцы били из минометов по площадям и опять порвали связь. И Серпилин не стал заботиться о том, чтобы ее восстановили, он понял по разговору, что в историю со взятием Грачей вмешалось что-то, что давит не только на него, но и на командующего армией, а может, даже и выше. С чего это началось и как закрутилось, он не знал и так и не узнал, но, вполне отдавая себе отчет о последствиях, все-таки не организовал новой атаки; ему было жаль себя, но еще больше было жаль людей.

Когда утром, промерзший до костей, в изорванном осколками полушубке он пришел назад к себе на командный пункт, в переданном по радио сообщении Информбюро назвали среди других крупных населенных пунктов освобожденный сегодня ночью районный центр Грачи.

Предчувствуя дальнейшее, он испытал соблазн вернуться в батальон, подняться во весь рост, пойти под пули среди бела дня по открытому месту и погибнуть. По крайней мере, все разом кончится! Испытал соблазн, но не поддался, хотя в том настроении, в каком он был тогда, умереть не казалось ни самым страшным, ни самым трудным.

О том, что произошло дальше, он не любил вспоминать. В середине дня его вызвали в штаб армии, где находилось не только армейское, но и фронтовое начальство. О том, что якобы взятые Грачи не взяты, уже донесли на самый верх; гроза собиралась над всеми.

Если бы Серпилин склонил голову, смолчал, ему бы сначала дали жару, а потом потихоньку вытащили из

беды. Но он не склонил головы и упрямо сказал все, что думал. Сказал под оскорбления и угрозы трибуналом. Сказал, не уважая в ту минуту человека, которого до этого уважал, и, несмотря на свое подчиненное положение, сумел дать ему почувствовать свое неуважение. А под трибунал не пошел потому, что уже к вечеру его заместитель, действуя по его плану, без потерь взял Грачи.

Под трибунал не пошел, но и в дивизию не вернулся.

Два месяца околачивался в резерве, доказывал, что он не верблюд. В глазах людей, с которыми говорил, часто видел понимание и сочувствие, но поскольку однажды уже было доложено на самый верх, что он наказан за обман, а Грачи взяты в результате вмешательства сверху, то передоложить не решились или не смогли. Не помог даже самоотверженный рапорт его заместителя. Хорошо, что это время пришлось на период весеннего затишья, а то бы он пережил его еще тяжелее. И назначили его снова командиром дивизии, и послали в тыл формировать ее не потому, что он доказал свою правоту, а просто потому, что прошло время. И, быть может, не напоминай он так упрямо о своей правоте, это время прошло бы еще быстрее. Просто прошло время и нужны были командиры дивизий...

С человеком, который сделал тогда из него козла отпущения, он больше не встречался. Знал, что именно этот человек проявил потом редкую отвагу в тяжелых летних боях сорок второго года, но того, каким он был в тот день, забыть не мог: из песни слова не выкинешь. Хотел бы забыть, потому что они оба были люди одной армии, бывшей одного врага, но не мог...

«Неужели опять попаду в такое же колесо? — думал Серпилин, подъезжая к штабу армии. — Нет, врешь, не дамся! Да и время все же меняется: кое-что поняли, кое с чем простились — война научила».

Командующий армией генерал-лейтенант Батюк сидел у себя на командном пункте, пил чай и, поджидая Серпилина, колебался, как с ним разговаривать.

Вообще-то Батюк был человек, не склонный к колебаниям, и считал это своим достоинством. Он любил ясность. А тут была как раз неясность.

С одной стороны, раз уже все равно Барабанов наломал дров, это давало повод намылить шею и Серпилину, которого Батюк хотя и ценил, но недолюбливал за строптивость.

С другой стороны, командующий фронтом, когда Батюк доложил ему о случившемся ночью, отнесся к этому без внимания и еще раз настойчиво повторил: «А вы все же подумайте о Серпилине как о начальнике штаба». И Батюк ответил на это, что долго думать не над чем, если фронт предлагает эту кандидатуру, у него возражений нет.

Серпилин строптив, и это плохо, но все же он свой. Его Батюк, по крайней мере, знает, а кого пришлют со стороны, неизвестно.

«Ничего, с обязанностями справится, а в остальном пообломаю!» — самоуверенно подумал он о Серпилине.

Причина для такой самоуверенности была. Не один десяток подчиненных «обломал» Батюк за долгие годы своей военной службы. С тем начальником штаба, который теперь уходил, у него были неплохие отношения: тот сумел примениться к характеру командующего, недостаток его, с точки зрения Батюка, заключался не в строптивости, а в том, что наверху, в штабе фронта, об этом начальнике штаба составилось слишком высокое мнение, а Батюк не любил, когда кто-нибудь бывал виден из-под него.

При таком положении вещей Батюк готов был расстаться даже с хорошим начальником штаба. Жаль только, что его забирали на фронт. Батюк не любил, когда его бывшие подчиненные работали в вышестоящих штабах.

И о том, что Барабанов застрелился, и о том, что остался жив, Батюк узнал уже после отъезда командующего фронтом. То, что Барабанов стрелялся, Батюка возмутило больше, чем все, что он натворил в пьяном виде. Самоубийца Батюк презирал и для самого себя такой возможности не признавал, считая, что человек должен бороться за жизнь до последнего дыхания, пока не убьют. «Подумаешь, испугался штрафного батальона! Во-первых, еще не вечер, не за командиром дивизии последнее слово, а во-вторых, и в штрафном можно ранением отделаться и опять в люди выйти. Если и там пуля в грудь, так все же в бою, а не сам себе!»

То, что Барабанов наделал дел в пьяном виде, злило Батюка, хотя для него не было новостью, что Барабанов мог выпить лишнего. «Подвел, сукин сын, — сердито думал Батюк, — сам выпросился на полк и подвел! А ведь целиком обязан. Кто бы ему, дураку, дал полк? Распустил там хвост на самостоятельной должности и подвел... Конечно, Серпилин, если б хотел, мог поначалу замять, знал, что, не замяв, доставит неприятность лично командующему, но не принял во внимание».

С утра Батюк был в гневе на Серпилина. Но теперь, после того как Барабанов стрелялся, этот гнев отошел на второй план. Теперь уже не было вопроса, можно или нельзя замять. Сейчас замять было уже нельзя.

«Отправлять в штрафной батальон Барабанова теперь навряд ли придется: сам себя наказал, а два раза не наказывают, но из партии, дурака, исключат за такие дела. Тут уж Захарова не переспоришь», — подумал Батюк.

С такими людьми, как Барабанов, которые заведомо ему неровня, Батюк, если имел к ним расположение, был по-хозяйски груб и добр. С ними он был другим человеком, чем с теми, кто способен был критически отнестись к его суждениям и мог, по его мнению, подставить ему ножку или обойти по службе, а обходивших его по службе в последнее время появлялось все больше.

Говоря, что Барабанов спас когда-то Батюка, люди преувеличивали: не спас, а просто вместе с другими тащил его, раненного. Зато Батюк в самом деле спас Барабанова от смерти: на своих могучих плечах вынес с поля боя в сорок втором под Харьковом во время всеобщей неразберихи. Вынес, а потом, нарвавшись на немцев, положил Барабанова рядом с собой, отстреливался из автомата и отбил: четырех уложил, а остальные отошли и сгнули, пошли искать добычу полегче, не знали, что отстреливается от них, оставшись один как перст, сам генерал-лейтенант Батюк. А потом опять взвалил Барабанова на плечи и дошел-таки до своих, до отступавшего в панике полка. Командира полка — в рядовые за трусость, а полк привел в порядок и вывел. Так было на самом деле у них с Барабановым, и за то, что он сам сделал для Барабанова, Батюк любил его больше, чем за что-нибудь другое, любил и сейчас, хотя был до крайности зол на него.

«Ну что ж, — подумал Батюк, возвращаясь от мыслей о Барабанове к мыслям о Серпилине. — Пусть будет начальником штаба, если, конечно, утвердят».

Звонок из Москвы, в связи с которым Батюк вызвал Серпилина и приказал подготовить «У-2», чтобы подкинуть Серпилина на аэродром, откуда шли самолеты в Москву, говорил, что Серпилина, скорей всего, утвердят. Были у него старые связи, были однокашники на высоких постах: если бы не так, то черта с два стали бы запрашивать из Генштаба о возможности отпустить на четверо суток в Москву командира дивизии по семейным обстоятельствам. Батюк сразу ответил: «Пусть едет». Да и сами семейные обстоятельства эти...

Подумав о семейных обстоятельствах Серпилина, Батюк окончательно решил, несмотря на барабановскую историю, разговаривать с Серпилиным по-хорошему. Люди есть люди. Сегодня семейные обстоятельства у него, а завтра и у тебя у самого могут быть...

Серпилин ожидал, что, когда он войдет и доложит командующему о своем прибытии, тот, как это обычно бывало с ним в гневе, привстанет, упрется в стол кулаками и, нагнув побагровевшую бритую голову, глядя не на тебя, а на карту, буркнет в усы: «Докладывайте».

Но ничего похожего не случилось. Когда Серпилин вошел вместе с Захаровым и начал докладывать о случившемся в дивизии, Батюк остановил его и кивнул на Захарова:

— Основное уже знаю от Константина Прокофьевича. А на долгий доклад у тебя времени нет. — Он посмотрел на часы. — Жена у тебя плоха. Надо в Москву лететь, если застать хочешь.

Сказал Серпилину о жене сразу, без предисловий, не от душевной черствости, а потому, что так смотрел на вещи. Если бы с ним случилось такое, сам бы не ожидал от других, чтобы они обхаживали его предисловиями.

Серпилин сильно побледнел и, пошарив рукой спинку стула, молча опустился на него. Только в одном этом и выразилась тяжесть испытанного им потрясения: он, человек, всю жизнь прослуживший в армии, в присутствии командующего и члена Военного совета сел первым, даже не подумав об этом.

— Разрешите закурить? — спросил он чужим голосом, вытащил из кармана пачку «Казбека», постучал мундштуком о крышку, чиркнул спичкой и сунул спичку за донышко коробка.

Батюк сказал, что «У-2» уже подготовлен, что отпуск разрешен на четверо суток, что из Москвы звонил лично заместитель начальника Генштаба и велел Серпилину перед вылетом позвонить ему по ВЧ.

Мысль Серпилина из всего, что говорил Батюк, сначала выхватила только слова о четырех сутках отпуска. На четверо суток, значит, не на похороны.

— Так как, ВЧ заказать? — спросил Батюк.

И Серпилин, только тут заметив, что он сидит, а командующий стоит, поднялся со стула и молча кивнул.

Глядя, как Батюк идет к столу, снимает трубку и заказывает ВЧ с Москвой, он продолжал думать о том, от чего умирает жена. Наверное, от сердца. В первый раз это случилось, когда он был еще там, на Колыме, во второй — когда вернулся. Значит, теперь в третий.

Он привык жить без нее, привык не видеть ее подолгу, но мысль, что ее вообще не будет, была так непоправима, что не укладывалась в голове.

Он испытал ощущение, которого не испытывал с детства: ему показалось, что он сейчас заплачет. Дикость этой мысли заставила его заторопиться.

— Товарищ командующий, — сказал он, делая два шага к столу, за которым сидел Батюк, — пока ждем ВЧ, разрешите доложить...

Батюк посмотрел на него с неудовольствием. Видя горе Серпилина, он искренне не хотел возвращаться к барабановской истории.

— Не надо, — сказал он. — Все ясно. Барабанов себя наказал, а тот, кто помер, так и так помер. Поговорим, когда из Москвы вернешься.

Захаров тоже с неудовольствием взглянул на Серпилина. Он опасался, что Серпилин захочет рассказать Батюку про обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Барабанова, и считал это в данный момент лишним.

Но Серпилин хотел доложить не о том, о чем они оба подумали, и, когда Батюк остановил его, настойчиво повторил:

— Я все же прошу, товарищ командующий, разрешите доложить.

Батюк кивнул, не одобряя, но и не имея оснований запрещать. «Что ж, говори, раз тебе приспичило» — такое было выражение лица у Батюка.

И Серпилин начал докладывать о предстоящем бое. И пока докладывал, уже в середине доклада сам понял, что он, Серпилин, не проведя боя и не заняв этого проклятого Бугра, не уедет с фронта.

Батюк, дослушав доклад до конца и уточнив вопросами несколько подробностей, уже собирался ответить, что согласен, — пусть этот бой, оставшись за командира дивизии, проведет Пикин.

Но он не успел сказать этого Серпилину, потому что по ВЧ уже дали Москву. Он назвал номер и протянул трубку Серпилину.

— Товарищ генерал-лейтенант, — сказал Серпилин, услышав в трубке знакомый голос Ивана Алексеевича. — Докладывает Серпилин. Вы разрешили позвонить вам.

Начал разговор по всей форме потому, что не хотел показывать при Батюке свою дружескую близость с начальством.

— Беда, Федя, — далеким голосом сказал Иван Алексеевич в жужжащую трубку ВЧ. — Валя твоя лежит с инфарктом, у тебя на квартире. Очень плоха. Был ночью у нее.

— Она в сознании?

— В сознании. Просила не сообщать тебе. Но я не послушал, решил вызвать. Батюк разрешил, я с ним говорю. Позвони мне с аэродрома, я машину вышлю.

— Завтра постараюсь вылететь.

— Почему не сегодня?

— Сегодня не могу.

Иван Алексеевич, кажется, хотел возразить, но не возразил. Знал, что бывают на войне «не могу», через которые не перескочишь. Почему «не могу», выяснять не стал, а только сказал тревожно:

— Ну смотри, — и еще раз повторил: — Имей в виду, Батюк мне лично дал согласие отпустить тебя.

— Все понял, — сказал Серпилин и, положив трубку, встретился глазами с Батюком. — Хочу сам бой провести.

— За Барабанова хочешь этим Бугром оправдаться? — спросил Батюк.

— Не оправдаться, а взять хочу.

— Возьмут и без тебя.

— А я хочу при себе.

Батюк пожал плечами: он не считал себя вправе запретить Серпилину сделать это в сложившейся обстановке.

— Только потом не пеняй на себя и на меня, — сказал он.

И, считая дело оконченным, вызвал дежурного и приказал, чтобы «У-2» от полета отставили и приготовили завтра на утро.

— Разрешите отбыть в дивизию? — спросил Серпилин.

— Слушай, Константин Прокофьевич, — сказал Батюк, повернувшись к Захарову, — разговор мой с командующим фронтом, что при тебе начался, продолжение имел. Думаю, надо сказать Серпилину. Как ты считаешь?

Захаров кивнул.

Серпилин с недоумением смотрел на Батюка.

— Командующий назвал твою кандидатуру на начальника штаба армии, — сказал Батюк.

Он имел привычку говорить «ты» всем подчиненным без исключения, невзирая на положение и возраст, хотя очень удивился бы, если б кто-то из них вдруг ответил ему тем же. Впрочем, он, в свою очередь, считал в порядке вещей, если те, кому был подчинен он сам, звали его на «ты», невзирая на его немолодой возраст и звание генерал-лейтенанта.

— Как смотришь на это? — спросил он молчавшего Серпилина.

— А вы сами? — в свою очередь, спросил Серпилин, не позаботившись скрыть удивление.

— Отношусь положительно, иначе бы не спрашивал тебя, сам понимаешь, не маленький! — с оттенком вызова сказал Батюк.

«Да, вот так, лично недолюбливаю тебя, сам знаешь, за что, а согласие назначить тебя начальником штаба все же дал, потому что справедлив. А ты, хоть и думаешь, что знаешь меня хорошо, знаешь меня плохо. То-то!»

Серпилин вместо того, чтобы поторопиться с ответом, все еще молчал.

— Ну, так как же? — уже сердито повторил не обладавший большим терпением Батюк.

Серпилин ответил, что постарается оправдать доверие.

— Пока в Москву съездишь, так или иначе решится, — сказал Батюк. — Если положительно, то, как вернешься, сразу приступишь... Справится Пикин с дивизией?

— Я вам уже докладывал, что он достоин выдвижения.

— Помню, что докладывал, — сказал Батюк, — но тогда ситуация не возникала.

— Разрешите отбыть в дивизию?

— Поезжай, — сказал Батюк. — И особенно под огонь не суйся. Не в твоём Бугре сейчас суть дела.

Сказал так, хотя испытывал уважение к Серпилину за то, что тот не воспользовался законной возможностью улететь в Москву, свалив на других недоделанную черную работу с этим Бугром.

— Только бы погода до завтра не переменялась! Прогноз неважный, может оказаться и нелетная... — уже пожимая на прощание руку Серпилину, сказал Батюк.

Захаров тоже пожал руку Серпилину, но молча, без слов. Да и какие тут слова? В таких случаях человек сам решает свою судьбу, и глуп тот, кто не понимает этого.

Душа человека, только что испытывавшего глубокое личное потрясение, но вынужденного заниматься неотложными делами, — как река, где одно под другим, не смешиваясь, с разной быстротой тянут воду два разных течения.

Однажды решив для себя, что он не может уехать в Москву, не закончив дела с Бугром, Серпилин по дороге в дивизию уже не возвращался в своих размышлениях к тому, мог он или не мог поступить иначе.

Сидя в своей «эмке», он думал о будущем бое, о том, что умно сделал, приказав, чтобы его машина шла вслед за ним в штаб армии, — теперь он возвращался без про-

волочек; времени оставалось мало, и его нельзя было терять, хотя с Пикиным все было уже обговорено и там, в дивизии, пока он был здесь, дело уже делалось.

Теперь в обратном порядке по сторонам дороги мелькало и ползло навстречу все, что он видел, когда ехал в штаб армии, и мысли о том, что и как будет, если он станет начальником штаба армии, возникали сначала мимоходом, а потом все настойчивей.

Но подо всеми этими мыслями, имевшими отношение к делам, которыми ему предстояло заниматься, неотступно шло второе, глубинное течение: у него в Москве умирала жена.

Надо было брать высоту Бугор — а у него умирала жена. Надо было решать, какого комбата посильней поставить на место убитого Тараховского, — а у него умирала жена. Надо будет убрать подальше от дороги, чтобы не разбомбили, второй эшелон батальона связи — а у него умирала жена. Надо будет пробить заблаговременно, до начала наступления, вторую снежную дорогу к фронту, параллельно той, что идет, и не допустить, чтобы ее заранее искорежили, — а у него умирала жена...

Проезжая мимо расположения второго эшелона своей дивизии, Серпилин на перекрестке чуть не столкнулся с выезжавшей с боковой дороги «санитаркой». Шофер «санитарки», желая пропустить «эмку» с начальством, притормозил и забуксовал, загородив дорогу.

Из кабины санитарной машины выскочил боец, обежал машину и стал вместе с шофером Серпилина подталкивать ее сзади. Но машина продолжала буксовать. Потом открылись задние дверцы «санитарки», оттуда выскочила на дорогу женщина и стала толкать машину вместе с мужчинами.

Серпилин сразу узнал эту женщину. Это была женщина-врач из полка Барабанова, та самая, которая недавно переехала из госпиталя и с которой жил Барабанов. В машине, очевидно, лежал Барабанов, и она сопровождала его.

Серпилин открыл дверцу «эмки» и пошел к «санитарке» с намерением помочь, потому что машину толкала женщина. Но пока он успел подойти, машину общими усилиями струнули.

Шофер, санитар и женщина стояли, переводя дух. У женщины было еще сравнительно молодое, но поблекшее лицо с большими красивыми еврейскими глазами. С трудом отдышавшись, она приложила пальцы к ушанке. Из-под ушанки, сдвинувшейся набок, пока она толкала машину, выбилась прядь черных с проседью волос. Серпилин увидел эти волосы с проседью и почувствовал жалость к этой женщине, то ли оттого, что вспомнил о своей жене, то ли потому, что, увидев седые волосы, подумал: хотя Барабанов и выжил, но эта женщина долго счастлива с ним все равно не будет, стара для него.

— Товарищ генерал, — начала докладывать она.

Но Серпилин остановил ее:

— Кого везете, Барабанова?

— Да.

— Как его самочувствие?

— Хорошее, — радостно и громко сказала, почти выкрикнула она.

И, спохватившись, словно этими словами о хорошем самочувствии Барабанова могла повредить ему, потухшим голосом стала объяснять, как прошла пуля, что еще три миллиметра левее — и все было бы кончено.

— Но сейчас-то хорошее, говорите? — переспросил Серпилин.

— Признали транспортабельным.

— В сознании?

— В сознании.

Она угадала, что Серпилин захочет увидеть Барабанова, но не знала, хорошо это или плохо.

— Как врач не возражаете? — спросил Серпилин, подходя к задней дверце санитарной машины.

— Не возражаю, товарищ генерал.

Он открыл дверцу, влез в машину и снова прикрыл за собой дверцу. В машине было полутемно.

— Ну что там, Соня? — тихо спросил Барабанов.

Серпилин на ощупь передвинулся вдоль откинутого по борту сиденья и увидел лицо лежавшего на подвесных носилках Барабанова. Глаза у Барабанова были открыты и с удивлением смотрели на Серпилина.

Но Серпилину не пришло в голову объяснять, как он встретил их машину и почему оказался здесь, — все это было несущественно.

— Как себя чувствуете?

— Говорят, буду живой, — слабо, но внятно сказал Барабанов.

И, облизнув языком губы, добавил:

— Не думал, товарищ генерал, что еще раз увижу вас в своей жизни.

И по тому, как он это сказал, Серпилин понял: «Нет, не лукавил Барабанов с собой перед дулом пистолета. Не было у него никаких „а вдруг“. Испытал человек смертельный удар совести и лишил себя жизни. Остальное — случайность».

И хотя по логике установленных порядков попытка к самоубийству не смягчала вины Барабанова, а только усугубляла ее, Серпилин, наклонившись к Барабанову и глядя ему в глаза, сказал:

— Поправляйтесь. Штрафного батальона для вас требовать не буду.

И, помолчав, добавил:

— На снижении в звании настою. А штрафного не ждите. Когда вернетесь в строй, возьму командиром разведроты.

— Теперь из партии исключат, — тихо вздохнув, потому что глубоко вздохнуть ему было больно, сказал Барабанов.

— Все равно возьму на разведроту, — сказал Серпилин, совсем забыв в эту минуту, что, скорее всего, он уже не будет командовать своей дивизией.

— Семье комбата пол-аттестата своего отдам, — вдруг сказал Барабанов. — Когда после операции очнулся, загадал: если живой останусь, буду переводить. Значит, такая судьба! А что, — помолчав, прибавил он так, словно Серпилин собирался возразить ему, — я холостой, и матери нет.

О женщине, стоявшей там, у машины, на дороге, он даже и не вспомнил. «Не жена и женой не будет», — подумал Серпилин.

— Ладно, поправляйтесь.

Но Барабанов задержал его взглядом.

— Если хотите, сами напишите жене комбата, что я в его смерти виноват. Пусть знает.

— Не буду, — сказал Серпилин. — Если напишу, аттестат от вас не примет.

Он понял, что слова Барабанова об аттестате не просто минутный порыв, а зарок на всю войну, зарок, от которого, даже если потом будет жалеть, не откажется...

Вылезая из машины, Серпилин снова близко увидел лицо военврача Сони, как он сейчас мысленно назвал ее. Она уже заправила поседевшую прядь волос под ушанку, и лицо ее казалось теперь моложе.

«А счастья все равно у тебя не будет», — с сочувствием к ней подумал Серпилин и, уже собираясь повернуться и ехать, вспомнил, что в барабановском полку ночью будет бой и надо предвидеть потери.

— Доставите майора в госпиталь, — сказал он военврачу, — и немедленно возвращайтесь в полк. Предстоят боевые действия.

Приехав в штаб дивизии, Серпилин прошел прямо к Пикину. Пикин был не один: у него сидел командир артиллерийского полка.

— Ну как, товарищ генерал? — тревожно спросил Пикин. Он знал, что Серпилин уезжал в армию, но не знал, зачем, думал, что из-за Барабанова.

— Ничего, все нормально, — сказал Серпилин, еще в дороге решивший никому, даже Пикину, до окончания боя не говорить о том, что его вызывают в Москву.

— Бережной полчаса назад вернулся и поехал прямо в полк, просил передать, что будет там, — сказал Пикин.

Серпилин кивнул.

— Увидимся. Сам поеду туда. Докладывайте ваши предложения.

Пикин стал докладывать, мягко опуская остро отточенный карандаш на образцово вычерченную схемку и время от времени поглядывая на артиллериста, подчеркивая этим, что они работали над предложениями вместе.

Положив в основу еще утром оговоренный с Серпилиным общий замысел боя, он теперь подпирает его всей необходимой бухгалтерией войны.

— Превосходно, Геннадий Николаевич, благодарю. Век бы служить с таким начальником штаба.

Похвала была приятна Пикину, но что-то в голосе Серпилина насторожило его, и он долгим, внимательным взглядом посмотрел на командира дивизии, ничего, однако, не спросив.

«Да, хорошо понимаем друг друга, — подумал Серпилин, — даже когда молчим, понимаем. Как-то будет у меня с Батюком, если, конечно, будет? Крест предстоит тяжелый, но насколько тяжелый? Вот в чем вопрос».

По дороге в полк, куда Серпилин захватил с собой артиллериста, зашел разговор о расходе снарядов. Артиллерист жался: в предчувствии предстоящего наступления не хотел расходовать на частную задачу ничего сверх строго необходимого. Вдруг потом не пополнят до нормы!

— Не жмотничайте! — сердито сказал Серпилин. — Ночью на снарядах пожмотничали, а людей потеряли.

— Я не жмотничал, — возразил артиллерист. — У нас огня не запрашивали.

— То-то и оно, что не запрашивали. У вас огня не запрашивали, а людей в огонь бросили и сожгли. Маскиру-

емся, говорим про пехоту по телефонам: спички, палочки! Немцы, если не полные дураки, давно это кодирование не хуже нас с вами знают. А если вдуматься, то даже и для кода слова какие-то, черт их знает, скверные: «Спички, палочки...» Сами себя к равнодушию приучаем!

Он помолчал и строго сказал артиллеристу, что обеспечить предстоящий бой сверхметким огнем — дело его совести. Батальон и так уже понес потери. А у солдата, когда он в атаку поднялся, щита нет. Полушубок да гимнастерка, да нательное белье, а под нательным бельем — тело, а в него пуля летит.

— Ваша поддержка огнем — вот и весь его щит. Другого щита у него нет.

— Товарищ генерал, по-моему... — обиженно начал артиллерист.

— По-вашему, по-вашему... По-вашему, вы хороший командир полка, и по-моему тоже — хороший. Потому и делюсь с вами мыслями, считаю, что поймете меня.

— Все будет сделано, товарищ генерал, — сказал артиллерист. — Только, откровенно говоря, боюсь, не пополнят комплект перед большим наступлением.

— Как ни трудно, а пополнят, — уверенно сказал Серпилин.

Он и в самом деле был уверен в этом. Со Сталинградом пора кончать. Хотя другие фронты продолжают успешно наступать, но их силы тоже не безграничны; чем дальше они уходят на запад, тем острее потребность высвободить в помощь им те семь армий, что заняты здесь, в тылу вокруг Сталинграда.

Серпилин подумал о завершении Сталинградской операции как о реальном и теперь уже недалеком будущем. Для него, Серпилина, это будет третьим кругом его жизни на войне: первый — от Могилева и до выхода из окружения под Ельней, второй — под Москвой, от назначения на дивизию и до снятия, третий завершится здесь, в Сталин-

граде. А потом — пополнения, эшелоны, переброска на другие фронты — начнется новый круг, четвертый.

«И этот четвертый круг...» Он снова подумал о жене.

Да, конечно, она просила, чтобы ему ничего не сообщали. А ему все-таки сообщили. Она как-то однажды сказала ему, что если её судьба умереть, то лучше, чтобы это случилось, когда его не будет рядом. И он знал, что она сказала тогда правду. Желание избавить его от тяжести своих последних минут у нее сильнее желания видеть его, потому что она любит его больше себя, и это не слова, которые часто говорят друг другу люди, а так на самом деле.

Когда Серпилин вместе с артиллеристом добрался в полк и вошел в бывшую барабановскую землянку, где теперь хозяйничал Туманян, тот поднялся из-за стола и, прикрыв рукой трубку, попросил у Серпилина разрешения договорить по телефону.

— С зам по тылу говорю, товарищ генерал, насчет маскхалатов.

Серпилин кивнул. Разговор был нужный. Он сам приказал собрать и подбросить в полк маскхалаты, чтобы хватило на всех, кто пойдет сегодня ночью в атаку.

Договорив по телефону, Туманян доложил обстановку: о сделанных приготовлениях и о том, что в полку находится Бережной.

— Прибыл час назад и сразу пошел в батальон Тарховского. Хотел я задержать его до темноты, по дороге одиночные мины кладут. Сегодня одного связиста ранило, но... — Туманян, не договорив, пожал плечами.

Жест был понятен без слов. Бережной, как всегда, не послушался.

— Вот и я схожу туда, погляжу на людей, — сказал Серпилин.

Он еще по дороге в полк решил заранее побывать в обоих батальонах, которым предстояло ночью наступать, охватывая с двух сторон высоту.

— Я уже докладывал вам, товарищ генерал, туда замполит пошел, — сказал Туманян, не одобряя решения Серпилина.

— Тем лучше, — сказал Серпилин, — а то мы с ним сегодня еще не виделись.

— Разрешите вас сопровождать? — недовольно спросил Туманян.

Он только что сам вернулся оттуда, куда собирался идти Серпилин, и у него не было ни малейшего желания идти туда снова. Но не предложить этого не мог.

— Не надо, — сказал Серпилин. — Оставайтесь здесь с артиллеристом, сверьте его и ваши данные. А я в батальонах долго не пробуду, через два часа вернусь.

Сопровождали Серпилина в батальон двое: молодой, недавно прибывший в дивизию лейтенант, помощник начальника штаба полка по разведке, и Птицын, ординарец Серпилина.

В воздухе начинало чуть-чуть сереть, и Серпилин, когда они прошли полпути, метров шестьсот, подумал, что возвращаться из батальона он будет уже в темноте. Ждать ее, чтобы идти в батальон, ему так же, как и Бережному, не позволяло время, но мысль, что на обратном пути они будут проходить это открытое место уже в темноте, была ему приятна.

Одиночная мина хлопнула впереди, подняв столб дыма и снега. И шедший сзади Серпилина ординарец Птицын зашагал так близко, что Серпилин почувствовал на затылке его дыхание.

Птицын попал к нему в ординарцы случайно. В августовских боях под большой бомбежкой Птицын вместе с несколькими другими ушедшими с передовой солдатами был задержан в расположении командного пункта дивизии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под трибунал, но Серпилин, узнав о них уже к вечеру, когда общая обстановка улучшилась, захотел сам посмотреть на беглецов — не имел привычки рубить сплеча.

Птицын обратил на себя его внимание понурым видом и густой, седой, давно не бритой щетиной. Из-за этой щетины он казался почти стариком.

Серпилин спросил, какого он года. Оказалось, что 1895-го — ровесник.

Серпилин распорядился всех остальных на первый случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял к себе в ординарцы, вместо убитого накануне при бомбежке.

— Лично проверю, что вы за человек, — сказал он Птицыну, — а еще раз драпанете, лично и застрелю.

Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью и абсолютной честностью — качеством в ординарце немаловажным — пришелся Серпилину по душе.

Серпилин считал, что этому немолодому и многосемейному солдату, по гражданской специальности счетоводу, сам бог велел быть ординарцем. Все же семья — семь душ, а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте.

Что касается храбрости, то Птицын был не храбрее и не трусливее других, человек как человек. Боязнь смерти внешне выражалась у него только в одном: под огнем Птицын старался держаться впритирку к Серпилину, в душе считая, что генерала не убьет.

Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серпилину и рассмешил его этим.

Лейтенант шел на несколько шагов впереди. Вдали хлопнула еще одна мина, и Серпилин заметил, как у лейтенанта дернулось плечо.

«Да, вот так: когда-нибудь рванет такая случайная мина на двести метров ближе и накроет рабов божьих, всех заодно, не разбирая званий», — помимо воли подумал Серпилин. Не хотел думать, а подумал.

Там, впереди, в Москве, завтра предстояло только горе. А все же мысль, что можно не дожить и до этого, показалась тяжелой.

В трехстах метрах, там, куда они шли, совсем рядом с командным пунктом батальона хлопнула третья мина.

«Не в твоем Бугре сейчас суть дела», — вспомнил Серпилин слова Батюка и, вздохнув, прибавив шаг, подумал, что все-таки сегодня суть дела именно в этом Бугре, и он перестал бы быть самим собой, если бы поступил иначе, чем он поступил.

5

В передней штурманской кабине легкого бомбардировщика, переоборудованного под самолет фельдсвязи, носовые пулеметы были сняты, но оставшиеся после них прорезы были заделаны ненадежно, и встречный воздух врвался сквозь швы.

Серпилина, подоспевшего в последнюю минуту, когда уже запустили моторы, впихнули в кабину снизу, защелкнули под ногами крышку люка, и он втиснулся третьим между двумя фельдъегерями, везшими в Москву секретную почту. Фельдъегеря тоже мерзли, несмотря на свои тулупы и валенки. Нельзя было ни повернуться, ни подвинуться, и от этой неподвижности было еще холоднее. Хорошо, что он все же успел. Еще минута — и пришлось бы ждать до завтра.

Самолет шел низко. За дрожавшим плексигласом фонаря были видны подробности заметенной необъятными снегами земли. Вросшие в снег избы с прямо стоявшими морозными дымами, серые по белому санные дороги, черные пятна прорубей с цепочками следов, товарные составы с обледенелыми крышами, водокачка с козлиной ледяной бородой... На земле было тоже холодно.

Серпилин несколько раз чувствовал, что, несмотря на холод, вот-вот заснет. Но каждый раз не позволял себе этого, боясь поморозиться.

Серпилина беспокоило: вдруг летчик не успеет по времени засветло в Москву и заночует по дороге. Только

когда справа под крылом прошла Рязань, он успокоился: между Рязанью и Москвой садиться было некуда.

Ночная операция сошла благополучно. Бугор окружили и взяли, захватив на нем сорок пленных. Цену пришлось заплатить довольно дорогую: были убитые, и раненые, и обмороженные. Того недавно прибывшего лейтенанта из штаба полка, что провожал Серпилина в батальон, убило миной в самом конце боя, когда он, бедняга, наверное, уже думал, что все обошлось. Самому Серпилину осколком той же мины рассекло у плеча рукав полушубка. Отдать зашить полушубок не было времени, а сменить на другой не захотел: привык к этому, так и лез в нем. В дырку лез холод.

Если бы не встревожившая немцев вылазка Барабанова, потери могли быть и меньше. Но, в общем-то, учитывая результат, они были из тех, что зовутся оправданными, и Серпилин не переживал их; только вдруг вспомнил об убитом прямо на глазах молоденьком лейтенанте: собирался начать жизнь с этого боя, а вместо того кончил на нем.

Самолет шел почти на бреющем, и от этого возникало ощущение большой скорости, хотя скорость для такого типа машин была недостаточная. Когда создали, назвали «СБ» — скоростной бомбардировщик. Меркой были тогда собственные, теперь уже устарелые истребители — «СБ» мог уходить от них. А на поверку выяснилось, что «Мессершмитты» запросто догоняют и жгут его. Те немногие, что уцелели, доживают свой век, как этот, — в фельдсвязи. Начали войну, по сути дела, без серьезного современного бомбардировщика. И сколько из-за этого голов сложено и в воздухе, и на земле — один бог ведает!

Во фронтовой газете, лежавшей в кармане полушубка, он посмотрел только первую страницу. Разгибать и переворачивать не хватило терпения: не слушались замерзшие пальцы. На первой странице было напечатано вчерашнее сообщение Информбюро: на юге мы заняли

столицу Калмыкии Элисту, Тормосин и станицу Нижне-Курмоярскую — все важные пункты и уже далеко, почти на полпути от Сталинграда к Ростову.

После двух дней молчания снова упоминалось о наступательных боях на Северном Кавказе. Значит, наступление продолжалось и там. На Центральном фронте взяты Великие Луки. Трудно представить себе, какого размаха там наступление, но ясно одно: немцам не дают снять отсюда, с севера, резервы.

От сознания, что вот уже полтора месяца, как мы гоним немцев, было если не легче, то как-то проще думать о собственном горе. Меньше от этого оно не становилось, нет! Но было ощущение, что есть нечто выше и больше всего остального, и больше твоей собственной смерти, если б сегодня ночью ты и тот лейтенант поменялись местами, и больше той смерти, навстречу которой ты ехал...

«Навстречу или вдогонку?» — подумал он, не в силах теперь, подлетая к Москве, избавиться от мысли, что эти сутки, на которые он задержался, быть может, уже все переменяли в его жизни, что хотя он летит, еще думая что-то сказать и что-то услышать, но на самом деле все кончилось и он уже много часов живет на свете один, со всем один...

Самолет пошел на посадку, впереди, в темноте, мелькнуло два слабых посадочных огня. Самолет трянуло и снова рвануло вверх.

— Промазал! — возбужденно крикнул фельдъегерь. — Ночевать, сволочь, в Москве хочет, а ты, как пешка, пропадай!.. — Он испуганно выругался.

— Ничего... как в прошлый раз, сядет, — отозвался второй фельдъегерь.

Летчик заложил крутой вираж и снова резко пошел на посадку. Фельдъегерь, сидевший справа, молчал, вцепившись рукой в колено Серпилина. А сидевший слева еще раз повторил: «Ничего, сядет», — напряженным голосом

человека, сознающего опасность, но изо всех сил старающегося не поддаться страху.

«Сейчас разобьемся», — вздрогнув от этого голоса, подумал Серпилин.

Самолет ударился о землю, подпрыгнул, вновь ударился и покатился, продолжая содрогаться и прыгать.

— Извините, товарищ генерал, — сказал фельдъегерь, снимая руку с колена Серпилина.

Когда уже вылезли из самолета и пошли по летному полю к дежурке, шагавший рядом с Серпилиным невидимый в темноте летчик сказал:

— Плохо содержат летное поле... Сколько раз им говорили!

— Раз время вышло, надо было в Рязани заночевать, — сказал тот фельдъегерь, который при посадке успокаивал себя: «Ничего, сядет». — А ты всегда как чумной.

— Бойтся, что жена с кем-нибудь без него переночует, — отозвался второй фельдъегерь.

— Ничего я не боюсь, — рассердился летчик. — Даже таких дураков, как ты, возить не боюсь. Стараешься для вас днем и ночью, потому что спешите, а вы еще недовольны.

— Спешим, да не на тот свет, — сказал фельдъегерь.

В дежурке было неправдоподобно тепло. Растирая замерзшие пальцы, Серпилин попросил оперативного дежурного позвонить в Генштаб — вызвать машину.

— Не такое быстрое дело, — сказал оперативный дежурный, берясь за телефон. — А может, вы с фельдсвязью подъедете? Их машина уже дожидается, — кивнул он на фельдъегерей. — Если вам в Генштаб, так они прямо туда.

— Мне в район Академии Фрунзе, — сказал Серпилин. — Но все равно.

Машина шла долго и несколько раз буксовала на открытых местах, где снегом перемело дорогу. Фельдъегеря выскакивали и толкали машину. Серпилин не вылезал.

Он промерз так, что зуб на зуб не попадал, да и фельдъегеря были ражие ребята.

Последние полчаса ехали быстрее. Фельдъегеря, сидевшие сзади Серпилина, разговаривали о своих делах. О каком-то сослуживце, который откручивается от дежурств, боится летать, о другом, которого сбили позавчера над Ладогой, и о том, придется или не придется завтра лететь снова...

Когда доехали до центра, Серпилин приказал оставить машину у метро, считая неудобным задерживать фельдъегерей с почтой.

В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Весной сорок второго года, когда он последний раз ехал в метро, народу в эти же часы было куда меньше.

Соседи по вагону говорили и о войне, и не о войне, но в памяти от непривычки застревало именно то, что не о войне. Какой-то высокий человек в шляпе, с пунцовыми большими ушами, вися на поручнях и пьяно нагибаясь к сидевшей перед ним хорошенькой женщине, говорил о совершеннейшей ерунде, о том, что какой-то Колпаков вовсе не такой уж царь и бог, за какого себя выдает, и что если она хочет, то можно и без всякого Колпакова поехать завтра в парники и достать там зеленого луку и шампинионов — он так и выговаривал «шампиНИОнов», а женщина, слушая его, виновато смотрела мимо, в сторону Серпилина, и в том, как она смотрела и какая неловкость была написана на ее лице, — в этом все-таки была война.

А рядом с Серпилиным — он сидел полуобернувшись и не видел их — две женщины, судя по голосам, немолодые, говорили о какой-то слесарше, которая за починку парового отопления просит два кило черного, а за полтора не хочет и слышать. Одна из женщин ругала ее, а другая оправдывала, говоря, что у слесарши тоже дети. И в этом далеко от войны разговоре, и в «два кило черного», и в том, что не слесарь, а слесарша, тоже была война.

От метро до дома Серпилин шел пешком. Шел, ни о чем связно не думая, только все прибавляя и прибавляя шаг. Если бы были силы, он побежал бы, но сил уже не было.

Поднявшись по темной лестнице на третий этаж, он пошарил на привычном месте звонок, не нашел и постучал кулаком. Дверь открыла женщина, показавшаяся ему незнакомой.

Серпилин спросил первое, что пришло в голову: «Вы врач?» — но тут же понял, что она не врач. На женщине был бумазейный халат, она одной рукой придерживала его на груди, а в другой держала сковородку с жареной картошкой.

Серпилин все еще не понял, кто эта женщина, понял только одно: не врач — и пошел мимо нее к дверям своей комнаты.

— Нету ее! — вскрикнула женщина и, не выпуская сковородку, рванулась вслед за Серпилиным и схватила его за рукав полушубка так, словно не могла допустить, чтобы он вошел в свою комнату. И от этого ее порыва Серпилин понял: умерла... Выпустил ручку двери, повернулся и посмотрел в глаза женщине.

— Когда? — только и спросил он.

— Вчера в госпиталь увезли, днем, — сказала женщина.

Серпилин опустил на стоявший у стены сундук и, чувствуя, что плохо владеет собой, задрожавшими пальцами полез в карман полушубка за папиросами.

— Правду говорите?

— Конечно, — сказала женщина. — А вы что подумали? — И по его глазам поняла, что он подумал. — Нет, нет, наоборот. Вчера днем лучше стало, потому и в госпиталь решили свезти, там же уход, врачи, а тут только одна сестра медицинская да я... — Она говорила это, все еще держа в руках сковородку.

Из кухни вышел мальчик лет четырнадцати и встал рядом с ней.

— Иди поешь, — сказала женщина, протягивая мальчику сковородку.

Мальчик перехватил ручку сковородки полой куртки и понес ее в ту дальнюю комнату, где когда-то раньше был кабинет Серпилина и где теперь жили эти люди.

Только тут Серпилин понял и кто эта женщина, и кто этот мальчик: это были соседи по квартире, въехавшие сюда по ордеру в тридцать седьмом году, когда его посадили, а Валентину Егоровну уплотнили, оставив одну из трех комнат. Он знал и фамилию соседей — Приваловы, знал и мужа этой женщины, преподавателя академии майора Привалова, который сейчас был на фронте. Знал и эту женщину, и этого мальчика. Видел их лет шесть назад, когда они жили здесь, в этом же дворе, только в другом подъезде, в маленькой комнате. Но сейчас, если б не догадался, кто они, не узнал бы. Тогда, шесть лет назад, этот мальчик был маленьким, а женщина молодой. С тех пор Серпилин не видел их: в начале войны они были в отъезде, а потом в эвакуации, и их комнаты стояли запертыми, а два месяца назад Валентина Егоровна написала, что они вернулись и что она очень дружно живет с этой женщиной, Марией Александровной, и ее сыном, кажется, Гришей...

— В каком госпитале? — несколько раз подряд затаившись папиросой, спросил Серпилин.

— В Тимирязевской академии. Там госпиталь теперь. Знаете где?

— Знаю. Лежал, — сказал Серпилин. — Телефон работает?

— Работает.

Серпилин подошел к висевшему на стене телефону и, вытащив из кармана записную книжку, набрал номер Ивана Алексеевича.

Адъютант ответил, что генерал-лейтенанта нет, ушел на доклад, и осведомился, кто спрашивает.

— Генерал-майор Серпилин.

— Где же вы, товарищ генерал? — сказал адъютант. — Мы вас второй день ждем. Куда машину прислать, вы с какого аэродрома звоните?

— С квартиры, — сказал Серпилин.

— Высылаю машину, — сказал адъютант.

— Запишите адрес.

— Не надо. Генерал-лейтенант ездил к вашей супруге, шофер адрес знает.

— Я до госпиталя доеду и верну машину, — сказал Серпилин.

— Не надо, товарищ генерал, — сказал адъютант, — генерал-лейтенант приказал сказать: сколько вам нужно, столько и держите. Только потом позвоните, он приказал, чтобы вы позвонили...

— Не в курсе дела, как положение моей жены? — спросил Серпилин.

— В тринадцать часов по приказанию генерал-лейтенанта звонил в госпиталь, сообщили, что без перемен. Сейчас еще позвоню, товарищ генерал.

— Не надо, — сказал Серпилин. Он уже не хотел слышать от других ничего — ни плохого, ни хорошего, хотел ехать сам и видеть своими глазами.

Он положил трубку и повернулся к женщине:

— Извините, Мария Александровна, не сразу узнал вас.

— Да уж... — сказала женщина, и лицо ее исказилось так, словно она готова была заплакать.

Серпилин с удивлением взглянул на нее. Неужели она так чувствительна к тому, что переменилась и постарела, или он так грубо это сказал?

— Годы идут, старею, память уже не та, — сказал он, считая, что поправляет этим неловко сказанное.

Но женщина словно и не слышала его слов.

— Как Валентина Егоровна? Что говорят?

— Говорят, без перемен.

Серпилин зажег папиросу от папиросы и поискал глазами, куда бросить окуроч.

— Бросайте на пол, все равно подметать буду, — сказала женщина. — Санитары были вчера, натоптали. А у меня убирать просто уж сил не было. — Лицо ее снова исказилось, и подбородок задрожал. Но она и на этот раз не заплакала.

Серпилин взялся за ручку двери своей комнаты. Но дверь не открылась.

— У меня ключ, — сказала женщина. — Я еще не прибралась там. К нам пока зайдите.

Она женским чутьем ощутила, что не надо пускать сейчас этого человека в комнату, откуда увезли его жену, где все так и осталось неприбранным, разоренным, — лишняя боль. Зачем она, когда еще столько ее будет!

— Машина скоро придет, — сказал Серпилин, взглянув на часы. — Я вниз спущусь.

— Ну хоть на десять минут, что ж внизу-то мерзнуть?

Серпилин подумал — ей может показаться, что он не хочет заходить в свой бывший кабинет. Он сказал: «Хорошо», — и, скинув полушубок, прошел за нею в комнату.

Мальчик сидел за столом, подперев рукой щеку, и ел со сковороды картошку. В комнате все было по-другому. Другие обои, другие вещи, даже другой пол, покрытый линолеумом.

Он скользнул взглядом по стенам. Последнее, шестилетней давности, воспоминание, связанное с этой комнатой, было из тех, что не переступишь: раскрытые шкафы, перевернутая вверх дном и распоротая тахта, стол с выброшенными на пол ящиками, на столе горой письма и бумаги, пол, заваленный книгами, — в них тоже рылись: искали, не заложены ли какие-нибудь документы...

Он сел за стол рядом с мальчиком, увидел напротив на стене портрет Привалова, новый, военного времени, в полковничьей форме, с двумя орденами Красного Знамени, которых у него тогда, до войны, не было, и, отвлек-

шись от собственных тяжелых мыслей, весело сказал, положив руку на плечо мальчика:

— Вот видишь, тебя и мать не узнал, а батьку сразу узнал, совсем не переменялся Иван Терентьевич... — Это он добавил, поворачиваясь к женщине, и, только договорив до конца, понял все случившееся по ее лицу, изуродованному последней, безнадежной попыткой удержаться от рыданий. Она боком опустилась на стул и, разведя в стороны руки, упала головой на стол, заплакала.

Мальчик высвободил плечо из-под забытой на нем руки Серпилина, встал и заходил по комнате, кусая бледные губы.

Серпилин, который в первую секунду хотел что-то сделать, сказать, может быть, коснуться плеча женщины, встретив взгляд мальчика, почувствовал в этом взгляде предупреждение: «Пожалуйста, ничего не надо делать, будет только хуже. Раз уж вы все равно сказали ей это, теперь не надо, ничего не надо...»

Серпилин молчал и смотрел на висевший прямо напротив него портрет покойного полковника Привалова. Мальчик ходил по комнате, а женщина сидела и плакала.

Потом она подняла голову и сказала мальчику:

— Пойди достань платок под подушкой.

Мальчик подошел к широкой, ее и отцовской, кровати — она стояла там, где когда-то стоял письменный стол Серпилина, — достал из-под подушки носовой платок и подал его матери. Мать вытерла платком подбородок, щеки и налитые слезами глаза.

— Вот так, — сказала она, зажав платок в кулаке. — Взяли Великие Луки... — Голос ее дрогнул.

— Мама! — резко сказал мальчик. Это было первое слово, которое он сказал за все время.

— Ничего, не буду... Как услышала вчера вечером сообщение, что взяли их, так плакала... думала, истерика со мной сделается. Никак остановиться не могла. В тот понедельник погиб он под ними. Его дивизия их и взяла.

В Торопце похоронили, на площади. Его дивизия и Торопец брала. За мной на похороны машину прислали. И он был со мной, — кивнула она на мальчика. — Не хотела брать с собой, а он настоял. В ноябре орденом Ленина наградили — написал: попрошу, чтобы в Москве вручили, воспользуюсь, приеду повидаться. Ах, — вздохнула она всей грудью, — что говорить и зачем говорить? Лучше вам про вашу расскажу... Нет, нет, я скажу, — остановила она рукой Серпилина, собиравшегося возразить, что он сейчас сам поедет и все узнает.

— Выйди, — строго повернулась она к сыну. — Тебе это незачем слушать, выйди в ту комнату!

И, проводив сына взглядом, подождав, пока за ним закроется дверь, повернулась к Серпилину и сказала:

— Сын ваш, Вадим, в пятницу вечером к ней приехал. С фронта, наверное... Она не ждала его, никогда мне о нем ничего не говорила, а я не спрашивала.

«И правильно делала, что не спрашивала», — сказали ей глаза Серпилина.

— Я ему парадную дверь открыла. Он к ней в комнату зашел, чего-то заговорил с ней, а она как закричит на него!.. Я к себе ушла, чтобы не слышать. Но все равно слышала. А потом парадная дверь хлопнула. Ушел. Позже зашла к ней, беспокоилась. Знала, что у нее сердце... Но она ничего. Лежала, правда. Спросила ее, не нужно ли чего. Она сказала: не нужно. И я пошла к себе свое горе мыкать. Только накануне с похорон вернулась. А утром пошла у нее чайник просить. Не отвечает. Открыла, а она лежит на полу, в приступе с кровати упала и лежит без сознания. Немного ударилась о ножку стола, вот здесь... — Мария Александровна показала у себя на виске, как ударилась жена Серпилина, и его передернуло от этого жеста. — Я ее на постель взвалила, стала звонить врачам, туда-сюда, пока приехали — боялась, умрет. А потом приехали, уколы делали. Немножко отошла. А потом днем ваш Вадим опять пришел, но я его уже не пустила. На

площадке объяснила. Он сказал, что поедет, всех врачей на ноги подымет. И правда, врачи скоро приехали, пост установили, потом генерал-лейтенант приехал...

С улицы донесся гудок машины. Серпилин поднялся.

— Машина пришла, — сказал он.

— Да что же это у нее с сыном? — спросила Мария Александровна, остановившись перед Серпилиным, пока он, сев на сундук в передней и скинув валенки, натягивал вынутые из чемодана холодные сапоги. В ее вопросе не было любопытства, только удивление перед чужим и непонятым горем.

Серпилин молча, не отвечая, натянул второй сапог, снизу вверх взглянул на женщину и, так ничего и не ответив, надел полушубок.

— Наверяд ли вернусь сегодня, — сказал он.

Вопрос, на который Серпилин не ответил, уже несколько лет был самым неразрешимым в жизни его жены, а последние два года — и в его собственной.

Серпилин в последний раз видел сына в тридцать седьмом году, когда после выпуска из Автобронетанкового училища провожал его на поезд к месту службы в Забайкалье. После этого было несколько писем: как устроился, как служит, как готовится к передаче из комсомола в партию. Последнее письмо пришло за день до ареста Серпилина, и четыре года, до возвращения из лагеря, он не знал о сыне ровно ничего.

Сначала, попав из тюрьмы в лагерь с правом переписки, дважды в свои письма к жене вкладывал письма для сына. Но жена в ответ, как глухая, не писала о сыне ни слова, и он подумал, что сын тоже арестован. Поверить в это было тогда нетрудно.

Потом его перевели в лагерь без права переписки. Ключ в дверях, отделявших его от прежней жизни, повернулся еще на один оборот.

Он возвратился в Москву ранним утром 22 июня. Уже шла война, но ни он, ни люди, встречавшие поезд, еще не

знали о ней. Когда поезд подходил к платформе Ярославского вокзала, он еще с подножки увидел в толпе лицо встречавшей его, по телеграмме, жены; сына рядом с ней не было.

— Где Вадим? — спросил он, обнимая молча плакавшую на его груди Валентину Егоровну, надеясь услышать «служит» и боясь услышать «сидит».

— Нет его, — странным, придушенным голосом сказала Валентина Егоровна, с трудом поднимая на него глаза. И он по этим глазам и странному голосу понял, что сын не умер. Когда умирают, об этом не говорят таким странным голосом. — Жив, жив, — продолжая глядеть ему в глаза, сказала Валентина Егоровна. — Дома поговорим.

Дома поговорили. И, несмотря на счастье свободы, на радость встречи, на прилив благодарной любви друг к другу, несмотря на обрушившееся через несколько часов первое известие о войне и первый сводивший с ума вопрос: «Пусть ли на фронт?», все равно тот разговор о сыне остался в памяти навсегда.

В 1937 году лейтенант Серпилин отказался от своего отца, врага народа, бывшего комбрига Серпилина, и подал об этом рапорт командованию, а потом выступил с письмом в окружной газете. Он написал как о вдруг открытой им тайне о том, что никогда не было тайной в их семье. Он указал в рапорте, что, как выяснилось, его настоящим, родным отцом был герой Гражданской войны Василий Яковлевич Толстиков, погибший под Царицыном, а оказавшийся впоследствии врагом народа Серпилин, за которого мать вышла вторым браком, усыновил его в пятилетнем возрасте. Не желая носить фамилию врага народа, он ходатайствовал вернуть ему славное имя его настоящего отца.

Его ходатайство было удовлетворено, и, когда Валентина Егоровна, еще ничего не зная об этом, переслала ему письмо Серпилина, он ответил письмом, в котором требовал, чтобы мать больше не переписывалась с его

бывшим отцом. Письмо было подписано: Вадим. А на конверте, там, где обратный адрес, стояло: Толстикова Вадим Васильевич. В первую минуту она даже не сообразила, что это значит.

Таков был конец — о начале, рапорте и письме в газету она узнала позже, когда одна из ее подруг приехала с Дальнего Востока.

Она ничего не ответила сыну, не ответила и Серпилину, спрашивавшему о сыне. Она не могла простить своему сыну этих слов «бывший отец», этого предательства по отношению к человеку, который с пяти лет и всю его жизнь делал для него больше, чем все родные отцы кругом. Даже слишком много делал! И сколько бы ей потом ни говорили, что сейчас «такое время», что это вынужденно, что, наверное, сын специально послал ей такое письмо, чтобы это письмо прочли там, где надо, — все эти оправдания уже ничего не могли сдвинуть в ней. Серпилин для нее оставался Федей, Федором Федоровичем Серпилиным, самым лучшим, благородным и честным человеком на свете, что бы с ним ни случилось, что бы про него ни говорили и к чему бы его ни приговорили. А вот сама она действительно была теперь бывшая мать бывшего сына! Она чувствовала себя безмерно виноватой перед Серпилиным за то, что сын, ее сын, теперь уже не его, а только ее сын, оказался таким. Ее мучило, что она не могла выбросить из памяти его — маленького. Такого, каким он был в последние годы, выбросила, а маленького — не могла. Как будто это были два совсем отдельных человека — тот сын, который был маленьким, и тот, который существовал теперь где-то там, на Дальнем Востоке.

На другой год после ареста Серпилина — в забытый, как она думала, всеми, кроме нее самой, день его рождения — к ней вдруг заехал Иван Алексеевич проведать и передать денег из рук в руки. Приехал так, чтобы даже жена не знала, не сболтнула кому-нибудь. В тот вечер Валентина Егоровна, зная все, что творилось кру-

гом, зная, сколько пустых, запечатанных квартир стоит в казенных военведовских домах, и хорошо понимая, что это значит — приехать к ней в такое время, сказала, вздохнув: «Вот, как хочешь, Ваня, можешь не поверить, а мне было б во сто раз легче, если б Вадим пострадал, а не отказался от Феди — пускай из армии бы выгнали, выслали, работал бы где-нибудь на поселении, на черной работе, и я бы с ним жила где угодно... в землянке, впроголодь, на одной ботве. Неужели такую цену надо платить, чтобы в армии остаться? А зачем они там, такие? Кому они, такие, нужны?.. Меня бабы утешают, что не один мой — все такие. Врут, дуры! Если б все такие, я б на себя руки наложила!»

Время тогда уже чуть-чуть, самую малость, стало поворачиваться к затишью в арестах, и Иван Алексеевич в ответ сказал, что все еще выяснится и станет на свое место, положение в их семье переменится к лучшему и ей самой захочется забыть вину сына.

«Захочется, верно, — с силой сказала в ответ Валентина Егоровна, — да сможет ли?.. Нет, не забуду! Тебе не забуду, что пришел сегодня, и ему не забуду, что Феде на грудь ногой встал и стоит, как на мертвом. Все переменится, а я не переменюсь к нему, не смогу».

И не смогла. Сын первый раз постучался в дом в тридцать девятом году, когда освободили кое-кого из военных. Приехал в Москву в отпуск, соседка открыла дверь, вошел в комнату матери прямо в шинели, с чемоданом...

«В гостинице места, что ли, не нашел?» — несмотря на всю силу испытанного при виде его потрясения, с презрением подумала она.

И так и не сказала ему ни одного слова. Молчала все время, пока он был в комнате. Он метался из угла в угол, то присаживаясь, то опять вставая, то пытаясь говорить так, словно ничего не произошло, то сперва с недомолвками, а потом и открыто прося прощения... А она все сидела и молчала, ожидая, когда он уйдет.

Наконец он подошел, сел рядом, обнял ее за плечи и вдруг, взглянув в глаза, отшатнулся и вскочил. Понял: еще секунда — и ударила бы по лицу. Кто знает, если б не отскочил, если б не пересел испуганно на другой стул, если б продолжал глядеть на нее, не моргая, и дал ударить себя по лицу, радуясь этому, как прощению, — кто знает, есть же все-таки мера сил человеческих, может быть, и прорвало бы ту каменную плотину, что, подпирая сердце, высоко и больно стояла у нее в груди...

Но он испуганно отсел, и она продолжала молчать, пока он не вышел вместе со своим чемоданом.

Второй раз постучался незадолго до войны, — прислал письмо, что женился и что родилась дочь. Прислал в письме фотографии. Предлагал выслать денег на дорогу, звал приехать погостить, повидать внучку. Валентина Егоровна прочла и не ответила.

В третий раз постучался теперь...

«Откуда взялся в Москве? С Дальнего Востока или с фронта?» — думал Серпилин, подъезжая к госпиталю в Тимирязевке. Хотелось верить, что, не пройдя фронтовой купели, не посмел бы показаться матери. «А она? Почему его приход так подействовал на нее? Что случилось? Только бы в сознании была», — как молитву, про себя прошептал он, выйдя из машины и подымаясь по лестнице. Он был готов к любому запрету — не говорить, не волновать, не спрашивать. Только б услышать ее голос, хоть шепот. И чувствовать, что не только он, но и она его видит.

«Ведь сказали, что вчера стало лучше, а сегодня сказали, что без перемен...» И чем дальше он шел по длинному коридору госпиталя, тем его сильнее лихорадило от этой надежды на лучшее.

Но заведующая отделением, очень высокая, сутулая женщина, похожая на усталого верблюда, не сразупустила Серпилина к жене, а завела к себе в маленький кабинет, где стояли стол, стул и накрытый клеенкой топчан.

— Садитесь.

Серпилин сел на холодную клеенку топчана и почувствовал, что дальше все будет очень плохо.

— Я думаю, мы будем говорить с вами, товарищ генерал, так, как оно есть.

Серпилин молча кивнул и снова подумал, что все очень плохо.

Заведующая отделением сказала это другими, своими словами. Начала с того, что сейчас его жена все равно без сознания, поэтому ничего, что он задержится здесь, в кабинете, на несколько минут.

— Судя по истории болезни, инфаркт у нее уже третий. Возможно, были и микроинфаркты. Человек, который не следит за собой, может не придать им значения...

— Да уж за собой... — начал Серпилин, но не закончил.

Заведующая отделением продолжала объяснять, что инфаркт третий и крайне тяжелый. Вчера днем больной стало значительно лучше, и врачи, которые увозили ее с квартиры в госпиталь, даже проявили оптимизм... (В голосе заведующей прозвучала досада.) Но уже вчера вечером здесь больной стало вновь плохо. Думали, что скончается; сегодня утром был консилиум, профессор, осмотрев больную, пришел к выводу, что уже помочь не в силах; вопрос не в исходе, а только во времени. Она, заведующая отделением, к сожалению, думает то же самое.

— Больная очень слаба и сегодня приходила в сознание лишь один раз вечером, около пяти часов. Спросила дежурную сестру: не приехал ли муж.

«Около семнадцати, — подумал Серпилин, — как раз когда шли на посадку».

— Вот так, — сказала заведующая отделением и положила перед собой на стол большие, чисто вымытые, равнодушные руки. Лицо у нее было сочувствующее, а руки равнодушные, может быть, потому, что они уже ничего не могли сделать.

Серпилин слушал все, что она говорила, не двигаясь, опираясь холодными ладонями о холодную клеенку топчана. Дослушав до конца, он ничего не ответил и не переспросил, потому что переспрашивать было нечего. Да и эта суровая спокойная женщина говорила с ним как с человеком, который не станет переспрашивать и говорить никому не нужные слова.

— Пойду, — сказал он, вставая.

Когда они шли с заведующей по коридору, он вдруг остановился и спросил:

— Так что ж, никакой надежды?

Она тоже остановилась, посмотрела на него при свете слабой синей коридорной лампочки и, наверно, еще раз подумав, что этому человеку лгать не надо и нельзя, ответила:

— Никакой.

Он ссутулился больше обычного и пошел дальше по коридору, но она остановила его у поворота:

— Боксы налево, она в боксе.

Серпилин не понял, что это за слово «боксы» и почему она в боксе, и лишь потом, с трудом оторвавшись от того главного, о чем думал, вспомнил, что боксы — маленькие комнаты, в которых лежат поодиночке.

В боксе на широком подоконнике горела настольная лампа, боком к ней сидела медсестра и, низко наклоняясь к страницам, читала книжку. Во весь подоконник была расстелена салфетка, и на ней стояли блестящие никелированные коробки. «Со шприцами», — подумал Серпилин. Это было первое, что он увидел, войдя в палату.

Жену он увидел, только когда повернулся к стоявшей налево от двери кровати. Кровать была затенена повешенной на спинку простыней; лицо Валентины Егоровны было в тени, и он не сразу заметил все происшедшие в этом лице перемены. Он сделал шаг к кровати, но, вспомнив, что жена без сознания, отступил, не стал подходить к изголовью, а остановился в ногах и, словно сам удержи-

вая себя от чего-то нелепого, что он мог сделать, обеими руками с силой ухватился за спинку кровати. Он стоял, вцепившись в спинку кровати, словно это был барьер или решетка, которую он мог перейти только взглядом, и неотрывно смотрел на лежавшую перед ним жену.

За те полгода, что он ее не видел, волосы ее еще сильнее поседели. На левом виске, там, где она ударилась о ножку стола, когда упала, темнела ссадина. Руки вытянулись поверх одеяла, а на похудевшем лице лежала та печать усталости и отрешенности, которую он не раз видел на лицах людей, умиравших не сразу, а имевших несколько дней на то, чтобы самим осознать, что они умирают. Так когда-то в восемнадцатом в походе на повозке умирал на руках от гангрены изрубленный казаками комиссар полка Вася Толстиков, умирал и просил его написать в Пензу — вдове. И он написал, а потом, после Гражданской, поехал к ней. А теперь она, двадцать два года бывшая его женой, умирала сама. Глаза ее были закрыты, и он напряженно следил за тем, продолжает ли она дышать. Потом наконец уловил это слабое дыхание и сам закрыл уставшие от напряжения глаза. А когда открыл, то ее глаза тоже были открыты и, как ему показалось, смотрели на него.

— Валя? — вскрикнул он и пошел, огибая кровать, к изголовью.

Но сестра метнулась со стула ему навстречу и остановила его:

— Она без сознания, просто так бывает — то закрыты глаза, то открыты.

Но он не поверил и еще раз сказал:

— Валя!

И только увидев, что в лице ее ничего не дрогнуло и раскрытые глаза продолжали смотреть не на него, а мимо, в угол, понял, что сестра сказала правду.

Но сестре казалось, что он все еще не понял и не поверил, и она продолжала удерживать его и объяснять, что лучше не прикасаться к больной, что для больной сейчас

опасно каждое самое маленькое движение, что она все равно без сознания и ничего не слышит, а если придет в сознание, то это сразу будет заметно — она тогда начнет шевелить губами и шептать, как шептала три часа назад, когда несколько раз подряд спросила: «Не приехал?»

— Ладно, не держите меня, не маленький, — сказал Серпилин. — Ничего я такого не сделаю.

Он отошел от изголовья и снова встал за спинкой кровати в ногах.

Теперь, когда у жены были открыты глаза, было еще труднее думать о том, что она все равно ничего не сознает и не видит его.

Он стоял и ждал, чтобы она очнулась. И если бы всю силу его сосредоточенного ожидания можно было обратить в какую-то другую силу, способную что-то сделать, эта сила, наверное, была бы способна не только возвращать сознание живым, но и воскрешать мертвых. Что значила в его жизни эта умиравшая на его глазах женщина? Со стороны, наверное, казалось, что не так уж много, потому что была служба, и война, и половина жизни в разлуках. Но это только казалось: он-то знал, чем она была для него!

Его жизнь была целью ее жизни, а теперь она умирала, а он оставался жить, не только не представляя, кем или чем можно заменить ее в жизни, но даже не представляя себе, что когда-нибудь сама жизнь вынудит его об этом думать. Но даже и тогда он все равно не сможет заново прожить той жизни, которую прожил с ней, и сказать кому-то другому то, что он сказал ей за всю эту жизнь, и услышать от кого-то другого то, что он услышал за эту жизнь от нее. Попробовать заменить ее кем-то другим будет все равно что попробовать заменить жизнь, прожитую им самим, другой жизнью, которую прожил не он, а кто-то другой.

Он сам не знал, сколько простоял так, все надеясь, что она очнется, и, что редко бывало с ним, совершенно потеряв представление о времени. Один раз он заснул стоя,

и его шатнуло так, что он чуть не упал. После этого сестра принесла ему стул, хотела поставить в головах, но он сам переставил стул в ноги, сел и продолжал ждать, глядя на жену.

Один раз в груди у нее заклокотало, голова ее вздрогнула на подушке и неподвижно замерла. Серпилин подумал, что она умирает, вскочил, подошел, нагнулся над открытыми невидящими глазами. Но она дышала, слабо-слабо, но дышала.

Сестра, тоже подумавшая, что больная умирает, побежала за врачом и вернулась с заведующей отделением. Серпилин посторонился; заведующая пощупала пульс, послушала дыхание и сказала, что нет, пока все по-прежнему.

— Может, поедете домой, поспите немножко, а рано утром приедете? — спросила заведующая отделением. — Не беспокойтесь, я сама сегодня в ночь дежурю, — добавила она, как будто это могло что-то изменить.

Но Серпилин только покачал головой и снова сел на стул ждать.

— Ведь это как, — успокаивающе положив ему руку на плечо, сказала заведующая отделением. — Мы и сами не точно знаем, когда... — Она подразумевала: «Когда приходит смерть», — и Серпилин понял.

— Вчера ваш сын всю ночь дежурил. В коридоре. Мы ему даже топчан там поставили, он в палату не захотел. Думали сами, что еще вчера ночью все будет, а ему так сказали. А вот, видите. Может, и еще ночь, завтра, а вы уже будете не в силах... поехали бы.

Но Серпилин вновь покачал головой. Может быть, все это и разумно, и правильно, но он не мог уехать отсюда.

Потом через какое-то время две санитарки стали вносить в дверь палаты топчан, тот самый, с клеенкой, на котором он сидел у заведующей в кабинете.

Он тихо, но твердо сказал женщинам, что не надо, они поняли, что он не ляжет, и унесли топчан обратно.

Потом опять через какое-то, он не знал, через какое, время зашла санитарка, и сестра после этого сказала ему, чтобы он вышел.

Он вышел и сколько-то времени стоял в коридоре, прижавшись лбом к холодному стеклу, пока они что-то делали там, в палате. Потом они сказали ему, что можно зайти, он опять зашел и сел на свое место. Жена лежала так же, как лежала, только с закрытыми глазами. Пока она лежала с открытыми глазами, ему казалось, что нельзя говорить при ней, а теперь, когда лежала с закрытыми, он спросил сестру про сына: когда он уехал отсюда?

— Сегодня утром; сказал, что у него сутки дежурство, а потом опять приедет.

«Что он, в Москве, что ли, служит?» — подумал Серпилин. А вслух спросил:

— В палату так и не заходил?

Сестра покачала головой.

— Только дверь открывал, заглядывал.

То, что было понятно Серпилину, очень удивило ее. Прошлую ночь она несколько раз предлагала этому капитану, чтобы он сидел не в коридоре, а в палате, тем более что в коридоре холодно. Но он все отказывался, и она подумала, что он боится вида смерти. Это бывает с мужчинами.

— В госпитале давно работаете? — спросил Серпилин сестру.

— Тридцать пять лет по госпиталям. Да три года в санитарном поезде, в ту войну.

— А сколько же вам лет?

— Пятьдесят шестой.

Серпилин удивился: сестра показалась ему моложе.

— Муж есть? — спросил он сестру, ожидая услышать: да, есть. Потому что раз ей пятьдесят шестой, наверно, его по возрасту уже не могли забрать на войну.

— Был, в ополчении погиб.

— А сколько ж ему было? — спросил Серпилин.

— Шестьдесят первый шел.

— А кем он был?

— Старый коммунист был, — сказала сестра, сказала так, словно разом хотела ответить на все заданные и незаданные вопросы. Ответила, вздохнула, помолчала, опять вздохнула. — Сначала сообщили, что без вести пропал. А потом товарищи доказали, что убит. — Она сказала об этом так, словно сначала ей принесли более тяжелую весть, чем потом.

И как ни чудовищно это было, но Серпилин подумал, что это действительно так. Раз по документам убит, значит, уважение к памяти. А если без вести — почему «без вести», как это так «без вести»? Как будто им кто-то предлагал подать о себе весть, а они не захотели, как будто прежде, чем умереть, надо было выбрать такое место и время, чтобы все видели своими глазами, как ты убит.

Серпилин усилием воли подавил в себе этот старый, еще с сорок первого года тлевший в нем гнев.

«Убит, убит... опять убит, — подумал он, глядя на медсестру. — Только всюду и слышишь: „убит“. Люди уже начинают забывать, что можно умереть не от бомбы, не от мины и не от пули, а просто от ничего, от болезни. И он сам забыл об этом. А сейчас сидит тут и снова знает, что это так и что это еще страшнее, если вообще смерть может быть страшнее смерти.

Серпилин заснул уже под утро глубоким и тяжким сном, привалясь головой к закрытым одеялом ногам жены. Он обессилел от двух бессонных ночей и от того однообразного, клонившего ко сну напряжения, с которым он много часов подряд смотрел в лицо жены. Он не услышал того последнего короткого вздоха, с которым, так и не открыв глаз, не двинувшись и не дрогнув, умерла Валентина Егоровна. Он не ощутил и того, как у него под щеклой постепенно похолодели ее ноги.

Сестра тоже не сразу заметила, что умирающая умерла. Она подходила к ней, когда та еще дышала. А потом, задремав, не подходила полчаса или больше...

— Скончалась... — сказала сестра, тронув за плечо Серпилина, и вышла, оставив его вдвоем с покойной.

Серпилин подошел к изголовью кровати, нагнулся и поцеловал жену в холодные закрытые глаза. Она умерла с закрытыми глазами, словно и тут захотела сделать так, чтобы ему было легче.

Потом он опустился на пол рядом с кроватью, прижался поседевшей лысеющей головой к ее холодному плечу и заплакал. И хорошо, что его никто не видел в эту минуту.

Когда вернулась медсестра и вместе с ней пришла заведующая отделением, Серпилин стоял спиной к ним у окна, за которым уже посветлело, и заправлял большими пальцами за пояс складки гимнастерки. Он повернулся на скрип двери, сухо покашлял, словно у него першило в горле, и спросил, можно ли по их правилам сегодня же похоронить жену. Хотел бы сделать это, пока он тут, а завтра утром ему лететь обратно на фронт.

Заведующая отделением обрадовалась его спокойному голосу: она терпеть не могла, когда при ней плакали мужчины.

— Сделаем все, что от нас зависит, — сказала она. — Может, и успеем, если вы не будете настаивать на вскрытии.

Серпилин довольно резко сказал, что он ни на чем не собирается настаивать. Сказал и, чувствуя комок в горле, пошел к двери.

— Куда вы? — спросила заведующая отделением.

— Похожу по коридору.

Он ходил по коридору минут сорок, а может, и пятьдесят, столько, сколько ему понадобилось, чтобы прийти в себя и знать: комок к горлу больше не подступит. По крайней мере, здесь, в госпитале, перед людьми.

За это время мимо него два раза прошла заведующая отделением. Второй раз с какой-то бумажкой, наверное, с актом о смерти, и сказала, что они скоро закончат с оформлением.

Он молча кивнул.

Потом подошла сестра и спросила:

— Домой заберете?

Он покачал головой.

— Значит, сюда, к нам, гроб привезете?

Он кивнул, хотя не знал, как это делается, куда ему ехать и откуда привозить гроб.

— Тогда, — сказала сестра, — нам пока придется спустить ее вниз.

Она хотела сказать «в морг», но сказала «вниз».

— Когда? — спросил он.

— Да надо бы сейчас. Вы еще зайдете к ней? Если зайдете, заходите, а потом мы спустим.

Он открыл дверь в палату и вошел. В палате было уже совсем светло и очень холодно. Фортка была открыта настежь, и из нее тянуло чистым, режущим морозным воздухом.

Жена лежала на кровати, закрыта одеялом по пояс, со сложенными на груди руками. В первую секунду он вздрогнул: ему показалось, что она ранена. Показалось потому, что нижняя челюсть у нее была подвязана широким чистым бинтом, и этот бинт был обмотан вокруг головы так, словно она была ранена в голову.

— Мы полотенцем подвязываем, — услышал он сказанные за спиной слова сестры, — а я ей — бинтом, потому что смена полотенца уже сдала. — Она извинялась перед Серпилиным, там, у него за спиной, что поступила не по порядку. А он смотрел и с трудом привыкал к этому новому, мертвому лицу с подвязанной челюстью, к этой обмотанной белым, раненой голове...

Так он стоял несколько минут в светлой и холодной мертвой комнате, прислонясь спиной к дверному косяку.

Потом почувствовал сзади прикосновение к своему плечу и отодвинулся в сторону, думая, что мешает пройти сестре. И, только уже отодвинувшись и повернувшись, увидел, что это не медсестра, а сын. Сын стоял

и молча плакал. По его постаревшему лицу текли слезы. Теперь Серпилин, отступив в сторону, больше не загромождал ему дорогу, но он все еще стоял на прежнем месте, как будто ему не разрешали войти в эту комнату.

— Что ты стал, иди, — сказал Серпилин.

Сын бросился мимо него к кровати, на которой лежала мать, и Серпилин, уже не глядя, что он будет делать дальше, там, в этой комнате, вышел в коридор.

6

Заведующая отделением, когда Серпилин зашел к ней, попросила его посидеть.

— Сейчас сестра вернется, пошла вам на справке печать и номер поставить.

После ночного дежурства заведующая стала еще больше похожа на усталого верблюда. Она сидела, ссутулясь, и просматривала истории болезни. Потом достала из стола кусочек сахара и, накапав на него несколько капель из пузырька, взяла в рот.

— Вижу, вам достается, — сказал Серпилин.

Вошла медсестра со справкой и вслед за ней сын Серпилина.

Как бы там ни было, а Серпилин не мог отвыкнуть звать его так в своих мыслях. Не мог и сейчас.

— Вот и все, — сказала заведующая, беря из рук сестры и протягивая Серпилину справку. — А приехать забрать можете в любое время, как только у вас все будет готово.

— К двум часам все будет готово, — сказал сын Серпилина. — Сейчас в загс поеду, потом за гробом, потом на Новодевичье... К двум часам с машиной и с гробом будем здесь. Мне сказали, ты сегодня хоронить решил? — обратился он к Серпилину.

Серпилин кивнул.

— Могут не оформить вам так быстро, — усомнилась заведующая, но сын Серпилина уверенно сказал:

— Ничего, сделают.

Голос у него был напористый, громкий, все он, казалось, знал и мог, а глаза были красные, опухшие от слез.

— Только вы, товарищ генерал, чтобы обрядить ее, все заранее привезите, — сказала сестра. — Наши нянечки сделают, постараются, но им время нужно. Вы лучше прямо сейчас привезите!

— Привезем, привезем, все привезем, — поспешно сказал сын.

Он заторопился, быть может, желая избавить отца от лишних мыслей обо всем этом, и Серпилин подчинился ему и первым вышел из кабинета врача.

— Подожди, — сказал Серпилин, когда они уже шли по коридору, — я вернусь, машину вызову.

— А у меня здесь стоит, — сказал сын. — Сейчас за вещами домой поедem, да?

Спросил так, словно у них по-прежнему был общий дом.

У входа в госпиталь стояла единственная машина — новенький открытый, с натянутым тентом американский «Виллис». Эти машины только недавно стали появляться в армии, в противотанковых артиллерийских полках, у большого начальства. Серпилин видел их, но у него самого такой не было.

— Садитесь на заднее сиденье, — приказал сын шоферу. — Я поведу.

Серпилин, ничего не сказав, сел рядом с ним.

— Вот, ездим в командировки, обкатываем... — сказал сын после того, как они минут пять проехали молча. — Я сейчас офицером для поручений у Панкратьева. Он говорил, что ты его знаешь.

«Вон оно что, — ничего не ответив, подумал Серпилин. — Значит, крутится у Панкратьева».

Он действительно знал Панкратьева, но хотя сам по себе Панкратьев был хороший человек, все равно непри-

ятно, что сын — порученец у Панкратьева в автомобильном управлении. Устроился, где полегче!

Несколько минут опять ехали молча, потом Серпилин спросил:

— На какие фронты ездите?

— Больше на Западный и Калининский, а в последний раз на Северо-Западный, — радостно откликнулся сын. Молчание его угнетало. — А что?

— Ничего, — сказал Серпилин. — Думал, ты на фронте...

Когда доехали до дому, сын собрался вылезти вместе с Серпилиным.

— Ты только скажи мне, что взять, я возьму, отвезу, а потом уже в загс поеду и так далее, — сказал он.

— Нет, — ответил Серпилин, не вдаваясь в объяснения, почему «нет». — Вещи я сам отвезу.

Он не знал, как это делается, не знал, что из вещей жены надо брать туда, в госпиталь, для похорон и что не надо, но все равно хотел делать это один, без сына.

— Только... — начал было сын, но Серпилин прервал его:

— Мне все ясно, повторять не надо.

— Я только хочу сказать, чтобы ты отдал мне бумагу, она мне для загса нужна.

Серпилин достал и отдал сыну бумагу и, не оборачиваясь, вошел в подъезд.

«Раз служит в Москве, — тяжело подымаясь по лестнице, думал Серпилин, — почему явился к матери только теперь?»

Он не винил сына в ее смерти — так случилось. Могло случиться иначе. Он верил словам врача, что, судя по состоянию сердца, ее жизнь уже давно висела на волоске. Но из головы не выходила неотвязная мысль: с чем же все-таки сын пришел к ней? И почему она так закричала? Она кричать не любила и не умела. Даже в ночь, когда его брали и семь часов подряд шел обыск, не сказала никому

ни слова, скрестила руки на груди и проходила взад-вперед по комнате с вечера до рассвета, пока не стали уводить. Но и тогда не крикнула и не зарыдала. А тут закрычала. Почему?

Он долго стучал и уже подумал, что никого нет, когда ему открыл мальчик.

— Мамы нет, а я дрова пилил на черном ходу.

— А когда мама вернется? — спросил Серпилин.

Ему пришло в голову, что надо посоветоваться с соседкой, что из вещей взять туда, на похороны. С сыном советоваться не хотел, а с ней мог.

— Наверно, скоро придет, за хлебом пошла. А что у вас? — спросил мальчик и поднял глаза на Серпилина.

— Умерла, — сказал Серпилин и, отвернувшись к стене, снял телефонную трубку.

Адъютант сказал, что Иван Алексеевич отдыхает.

— Еще не приехал? — спросил Серпилин.

— Нет, он здесь. Он, когда до утра задерживается, здесь отдыхает. Сказал, чтоб вы к одиннадцати тридцати приехали. Пропуск на вас уже заказан, — сказал адъютант. — Когда вам выслать машину?

Серпилин попросил машину прямо теперь, повесил трубку и, повернувшись, увидел мальчика, стоявшего за его спиной с ключом в руках. Глаза у мальчика были усталые и взрослые. Так бывает с детьми — жизнь, ни с чем не считаясь, вдруг требует от них, чтобы они за несколько часов взяли и стали взрослыми, и они становятся.

— Спасибо. — Серпилин взял ключ, открыл дверь, вошел к себе в комнату.

Чувствовалось, что соседка все тщательно прибрала в ней. Но эта тщательность как раз и напоминала о несчастье. Комната была так тщательно убрана, что казалась нежилой. На постели лежали подушки в свежих наволочках, одеяло было заправлено в новый пододеяльник, обе стеклянные пепельницы, на подоконнике и на столе, были протерты до блеска. А Валентина Егоровна, хотя

ей запретили врачи, немножко покуривала, и, когда она жила здесь, в пепельницах всегда лежали докуренные до половины, оставленные до другого раза папиросы.

Серпилин остановился, не зная, с чего начинать. Стоя посредине этой пустой, чистой и холодной комнаты, очень похожей на ту пустую, чистую и холодную палату там, в госпитале, он еще раз подумал, что вызвать его сюда, в Москву, к умирающей жене было очень щедро по нынешнему военному времени, а что ему, легче от этого? Может быть, легче, а может, и тяжелее. Может, тем, кому совершенно невозможно даже и подумать об отлучке с фронта к умирающей жене, чем-то даже легче от этой не зависящей от них невозможности. Наверное, это была несправедливая мысль, но она все-таки пришла ему в голову. И еще подумалось, что теперь, на третий год войны, все понятия о том, что такое горе, и чем можно помочь человеку в горе, и что он должен испытывать, когда у него горе, — все это уже давно спуталось, нарушилось, полетело к черту... Он вспомнил, как сам много раз отказывал людям в отпусках, нужных им до зарезу, до слез, и, подойдя к шкафу, решительно дернул дверцу. Так или иначе, надо было это делать!

Первой с краю висела на плечиках его шинель. Он знал, что она здесь висит, поэтому полетел в Москву в полушубке, не взяв ничего другого. Но шинель висела не просто так, а обернутая в простыню и заколотая булавками. У Валентины Егоровны была привычка завертывать и закалывать вещи, которые она особенно берегла. Серпилин вспомнил, что ему надо будет идти в Генштаб, расколлот булавки и бросил шинель на стул. Все остальное были вещи жены: демисезонное пальто, тоже завернутое в простыню и заколотое булавками, и несколько платьев. Все платья были знакомые и старые. С тридцать седьмого года она так ни одного нового и не сшила. Еще не решив, какое из этих платьев взять для похорон, он нагнулся, пошарил по дну шкафа, нашел

две пары туфель, вынул их и поставил у кровати. Одни старые, стоптанные лодочки, а другие, вроде полусапожек, новые, теплые, на байковой подкладке. Он не видел их раньше. Значит, все-таки сделала на заказ из тех заготовок на хромовые сапоги, которые он получил в прошлом году на фронте и послал ей в Москву.

«Возьму их, — подумал он, — они теплее».

Потом открыл другую створку шкафа, зная, что надо взять и белье, но сделать это оказался не в силах. Глядя на сложенное там белье жены, стоял напротив открытого шкафа и, заложив руки за спину, так долго не вынимал их оттуда, словно на них были кандалы, мешавшие ему протянуть руки, взять белье, собрать, завязать в узел...

Когда вошла соседка, он все еще стоял перед шкафом с закинутыми за спину руками.

Она вошла и, поняв, чем он занят, молча стала делать это вместо него. Самое большее, чем она могла сейчас помочь ему, это избавить его от вопросов. Она так и сделала: сама выбрала платье — черное и лодочки, потом, покопавшись в шкафу, отобрала белье, вытащила простыню, расстелила на столе и стала класть на нее вещи.

А он все так и стоял посреди комнаты, и она, как мимо столба, ходила мимо него от шкафа к столу и обратно.

— Вот и все, — сказала она, завязав узел, и присела.

Это были первые слова, которые она сказала после того, как вошла, и он был благодарен ей за это.

Когда она села, он тоже сел и закурил и, стряхнув пепел в пепельницу, вспомнил о той холодной чистоте, которая была в комнате, и сказал:

— Спасибо вам, что прибрали.

Она кивнула и неожиданно для него заговорила о прошлом:

— Когда уплотняли вашу квартиру, Иван Терентьевич хотел отказаться, не желал переезжать на живое место, но я убедила его: вдруг еще сочтут за что-нибудь такое, если откажемся? Сами знаете, какое было время.

Въехали, как виноватые, старались первое время Валентине Егоровне в глаза не глядеть.

— Она мне всегда про вас только одно хорошее говорила, — сказал Серпилин.

— А мы ей плохого не делали, — сказала Мария Александровна. — Только первое время сами себя неудобно чувствовали.

— Что ж тут неудобного, — сказал Серпилин.

Он подумал, что все это сейчас уж не имеет ровно никакого значения, но потом подумал, что нет, имеет, и пожал руку сидевшей перед ним женщине, благодаря ее за ту, которая сама уже не могла поблагодарить.

У женщины показались на глазах слезы, вызванные воспоминанием о собственном горе, но она сдержала себя и не заплакала при Серпилине, потому что его горе было последним, сегодняшним. И сегодня надо было думать о нем, а не о себе.

— Я с вами поеду, обряжу ее там, — сказала она, вставая и беря в руки узел с вещами.

Серпилин надел пахнущую нафталином шинель, и они вышли в переднюю. Серпилин хотел взять у нее узел, но она не отдала. Так и спустились по лестнице и сели рядом в машину — он с пустыми руками, а она с узлом на коленях.

Ехали молча. Посреди дороги Мария Александровна сказала:

— Она от меня, когда я с похорон в Москву вернулась, ни днем, ни ночью не отходила.

Сказала и снова замолчала.

Когда остановились у госпиталя и вышли из машины, Серпилин замялся. Он понимал, что идти туда с ней ему нельзя, но не знал, ждать ли ее здесь или ехать в Генштаб.

— А вы не ждите меня, поезжайте, — сказала она. — Я, как управлюсь, домой поеду. А на кладбище с вами не пойду. Про свое там вспомню — и сил не хватит, только вам лишнюю неприятность сделаю...

В бюро пропусков Генштаба ждать не пришлось: пропуск лежал готовый, но Ивана Алексеевича на месте не оказалось. Адъютант сказал, что был и ушел на доклад, предупредив, что, если генерал-майор явится без него, пусть ожидает.

И Серпилин стал ожидать. Ожидать пришлось долго. Несколько раз заходили незнакомые генералы, и адъютант, вставая при их появлении, однообразно отвечал: «На докладе».

От нечего делать Серпилин поглядывал на адъютанта, пробуя по его поведению представить себе: переменился ли Иван Алексеевич за время, что они не виделись, а если переменился, то в чем?

Адъютант был высокий и широкий в плечах, крепкий, рыжий, прихрамывавший подполковник. Звание было высокогато для должности, но, как видно, подполковник не век служил в адъютантах у большого начальства, воевал и в строю. Об этом говорили два ордена Красного Знамени и золотая нашивка тяжелого ранения. По телефону он разговаривал со всеми одинаковым, незаискивающим тоном, только по произносимым вслух званиям можно было догадаться, кто находился на другом конце провода. Когда кто-нибудь входил, адъютант мгновенно, как пружина, распрямлялся над столом, быстро и точно отвечал на вопросы, а все остальное время читал какой-то толстый документ и красным карандашом что-то брал в нем в скобки, наверно, отмечая нужные для Ивана Алексеевича места.

«Вот такой имеет право после ранения в адъютантах сидеть, — подумал Серпилин, считавший, что весь свой век сидеть в адъютантах могут только тупицы или холуи. — А потом, если не зажрется, сам в строй попросится. Такие просятся». Серпилин с досадой подумал о сыне, который успел уже зацепиться в порученцах, хотя у него нет ни орденов, ни нашивок за ранения.

Он вдруг с тягостным чувством вспомнил, как сына ничто не затрудняло: ни загс, ни гроб, ни кладбище, — все знал, все умел, все ему было просто. И хотя он понимал, что сын старался облегчить ему горе и освободить его от лишних забот, все равно эта умелость сына тяготила и удивляла: «Смотри, какой оборотистый...»

— Скажите-ка, подполковник, — обратился Серпилин к адъютанту, когда тот, в десятый раз сняв трубку, сказал: «Подполковник Артемьев слушает», — а кладя, пообещал: «Как вернется, доложу, товарищ генерал», — скажите-ка, где я вас видел?

У него была хорошая память на лица, и чем дольше он смотрел на этого рыжего подполковника, тем больше был уверен, что где-то видел его.

— Так точно, товарищ генерал, — вставая за столом, сказал подполковник. — Видали меня в декабре сорок первого на Подольском шоссе, в пробке. Я свой полк вел, а вы на «эмке» ехали, вызвали меня и приказали пробку расчистить.

— А горло у вас было замотано, — вспомнил Серпилин.

— Так точно.

— Почему, раз помните, сами не напомнили?

— Не положено первому напоминать, товарищ генерал. Я вас и раньше помню. Вы у нас в Академии Фрунзе курс оперативного искусства начинали читать...

Серпилин покосился на него и промолчал.

«Вон оно что, — подумал он, — значит, еще с той поры...»

Он, конечно, не вспомнил этого слушателя академии, бывшего тогда, в тридцать седьмом году, наверное, еще капитаном или старшим лейтенантом и среди десятков других сидевшего перед ним на его лекциях, но сами эти лекции он помнил очень хорошо. В тот учебный год он прочел их всего четыре, четвертая была последней...

Адъютант позвонил по телефону, в приемную принесли чай и бублики.

Серпилин выпил два стакана и, посмотрев на часы, встал. Оставалось совсем мало времени.

— К нам ваши самолеты каждый день идут? — спросил он у адъютанта.

Адъютант подтвердил, что да, конечно. На Донской фронт самолеты ежедневно...

— Кому надо дать заявку, чтобы лететь завтра? Авиаторам?

— Генерал-лейтенант позвонит, и все будет сделано.

У адъютанта был удивленный тон. «А как же ваша жена?» — кажется, хотел спросить он, но удержался.

— Доложите генерал-лейтенанту, когда вернется, что я просил дать на меня такую заявку, — сказал Серпилин. — А сейчас, если можно, вызовите машину, я отпустил ее.

— Генерал-лейтенант вот-вот вернется, — сказал подполковник тоном, намекавшим на делаемую Серпилиным неловкость.

Адъютант не только понимал, но и прямо слышал от своего начальника, что их с Серпилиным связывают давние и короткие отношения. Однако, на его собственный взгляд военного человека, всему был предел: дружба дружбой, а уйти из приемной заместителя начальника Генерального штаба, вопреки приказу дожидаться, было недопустимой вольностью.

Серпилин прочел эту мысль на лице подполковника и, считая ее в принципе верной, не счел возможным оставлять его в недоумении.

— Должен быть к четырнадцати часам в госпитале, — сказал он. — Доложите генерал-лейтенанту, что уехал, потому что жена умерла и надо хоронить. Когда похороню, буду звонить ему.

Сказал с тем безразличным спокойствием, которое воспитал в себе про запас для наиболее тяжелых минут жизни.

— Да как же это, товарищ генерал? Что ж вы не сказали! — с огорчением воскликнул подполковник.

Но Серпилин остановил его взглядом, говорившим: «За сочувствие спасибо, но при чем тут ты? И почему я должен был говорить тебе об этом раньше, чем возникла прямая необходимость?»

— Вот так, — вслух сказал Серпилин. — Так как на счет машины?

Когда Серпилин подъехал к госпиталю, «Виллис» сына уже стоял у подъезда.

— Садитесь ко мне, товарищ генерал, — сказал выскочивший из «Виллиса» шофер. — Это с другого хода! Товарищ капитан уже там, а мне приказал вас дожидаться и подвезти.

Серпилин сел в «Виллис», они выехали со двора, обогнули длинную каменную стену и подъехали к тому же зданию с задней стороны, с переулка. В переулке ждали два грузовика. На одном стояло два гроба, и сейчас их подвигали, чтобы поставить третий. Вокруг грузовика с гробами толпились женщины. Второй грузовик был пуст.

— Наш, — кивнул на него шофер.

Серпилин поднялся по обледенелым, грязным ступенькам, вошел в помещение и увидел стоявший прямо на полу и показавшийся ему очень большим закрытый гроб. Сын стоял рядом с гробом и передавал какой-то сверток в руки высокой тощей нянечки, которая ночью при Серпилине заходила в палату к Валентине Егоровне.

— Не беспокойтесь, все передам, как сказали. У нас этого — чтоб не передать — не бывает, — говорила нянечка, принимая сверток.

Сын повернулся к Серпилину:

— Собрал немножко, пайкового, для нее и для медсестры.

Сын был прав, но Серпилину стало неприятно.

— Спасибо, — сказал он и протянул руку нянечке.

Она переложила пакет под мышку и, подав ему руку, сказала:

— Все сделали: и обмыли, и обрядили. Совсем еще молодая она у вас, жить бы да жить...

— Спасибо, — повторил Серпилин.

— Я сказал, чтоб закрыли и гвоздями прихватили на дорогу, — сказал сын. — А то тут... — Он не договорил и брезгливо посмотрел на затоптанный пол.

Потом подошел к дверям и крикнул шоферу:

— Вавилов, позовите шофера и бойца с грузовика.

Через минуту вошли все трое.

— Понесли? — спросил сын.

Серпилин нагнулся к изголовью и, коснувшись пальцами пола, стал приподнимать гроб.

Когда вынесли гроб и поставили на грузовик, сын кивнул на соседнюю машину, около которой толпились люди, двигая туда еще один, четвертый гроб.

— Вот так и возят. А на кладбище целая очередь. — Он сердито махнул рукой. — Поедем!

Гроб стоял посредине открытого грузовика. По сторонам, к обоим бортам, были прибиты лавки. Серпилин молча полез в кузов.

— Не простудишься? Может, ты в кабину, а? — спросил сын, влезая вслед за ним.

— Закройте борт, — не отвечая, сказал Серпилин топтавшемуся около грузовика бойцу.

Боец закрыл борт и, схватясь за него руками, хотел тоже влезть. Ему казалось неудобным сидеть в кабине, раз генерал поедет снаружи.

— Идите в кабину, — сказал Серпилин.

«Виллис» пошел впереди, грузовик за ним. Сейчас, когда они сидели с сыном в грузовике на лавке, по обеим сторонам гроба, гроб показался Серпилину еще больше.

— За двадцать пять, — сказал сын. — Не мог другого достать, и этот-то... — И он, снова не договорив, махнул рукой.

В последний раз Серпилин увидел лицо жены на Новодевичьем кладбище, у могилы.

Они слезли с грузовика у ворот, шофер с «Виллиса» остался сторожить и прогревать обе машины, а Серпилин с сыном, второй шофер и боец, вчетвером, понесли гроб через все кладбище к дальнему концу его.

Гроб не показался Серпилину тяжелым, он только все время, пока шли, боялся оступиться. Кладбище было замечено снегом, приходилось перебираться через холмы забытых могил.

Когда подошли к яме, оказалось, что могильщики еще не дорыли ее до конца. Они стояли в ней по шею; один бил землю ломом, а другой выбрасывал лопатой смерзшиеся комки. Их головы то появлялись, то исчезали, и снизу, из-под земли, доносилась приглушенная ругань. Они материли мороз, зиму и землю.

Серпилин увидел, что сын собирается прикрикнуть на них, остановил его. Это было ему совершенно все равно. Лишь бы скорее кончили свою работу.

Гроб пока поставили на соседнюю, свежую еще могилу.

— Хочешь открыть? — спросил сын.

Серпилин кивнул. Да. Он хотел этого.

Сын оторвал слабо прихваченную гвоздями крышку, поднял ее, прислонил сбоку к гробу и до половины откинул прикрывавшую тело матери простыню.

Валентина Егоровна лежала на морозе, под открытым зимним небом, в черном платье с зябко сложенными на груди руками.

Дул ветер. Снег переметало с могилы на могилу, и снежинки негусто ложились на черное платье, на бледное лицо мертвой с маленькой ссадиной на виске, на седые волосы и синие веки.

— Может быть, накрыть? — спросил сын.

Серпилин отрицательно покачал головой. Он простался с тем, чего уже не было. Казалось, что там, в гробу, это еще было. Но этого уже не было. А когда гроб закроют и опустят в землю, этого не только не будет, но и перестанет казаться, что это есть. И то, что Серпилин видел своими глазами столько смертей, что давно потерял им счет, нисколько не помогало ему в эти минуты.

Он стоял и смотрел на жену, страдальчески закусив губу. Расталкивая и оттесняя все другие, одно, все одно и то же воспоминание нестерпимым комом подступало к горлу. Он вспоминал ее несчастное, виноватое лицо в день его возвращения после лагеря. Когда после первых проведенных вдвоем часов, после обеда он пошел в переднюю позвонить Ивану Алексеевичу, который был причастен к его возвращению, и, не дозвонившись, вернулся, Валентина Егоровна сидела на кровати, прислонясь к стене, без сознания. Он кинулся к ней, уложил, бросился звонить в «Скорую помощь», снова бросился к ней, пробуя привести в чувство, лихорадочно вспоминая давно забытое, то, чему его учили когда-то, еще до германской войны, в фельдшерской школе... И когда приехала «Скорая помощь», и ей сделали укол, и она наконец пришла в сознание и открыла глаза, у нее было такое виноватое лицо, словно она сделала бог знает что плохое, словно она в чем-то виновата перед ним! Нет, она никогда и ни в чем не была виновата перед ним! Кто угодно, в чем угодно, только не она, ни в чем, никогда.

Он не мог больше стоять над гробом, стоять и смотреть на нее, и даже испытал облегчение, когда один из могильщиков подошел и сказал:

— Все готово. Как, товарищ генерал, закрывать будем?

— Да, — сказал Серпилин, отпуская прикушенную, онемевшую губу.

Сын нагнулся к рукам матери и поцеловал их. Теперь она была уже не вольна запретить ему это.

Оторвав лицо от ее рук, сын накрыл тело простыней, и могильщики привычно и ловко прибили крышку гвоздями.

Серпилин не двинулся.

Могильщики поднесли гроб к краю могилы, подложили две длинные веревки и стали опускать его в яму. Потом вытянули веревки, и настала короткая непонятная тишина.

— Ты бросишь? — спросил в этой тишине сын.

И Серпилин понял: они ждут, чтобы он бросил первую горсть земли.

Он нагнулся, поднял мерзлый комок и бросил его на гроб. Потом бросил несколько комков земли сын, потом заработали лопаты... И все кончилось.

Когда они вышли из ворот кладбища, сын спросил:

— Ты куда?

— В Генштаб.

— Подвезти тебя?

— Подвези, — равнодушно сказал Серпилин.

Сын, как и утром, сел за руль, пересадив шофера назад. Ехали молча. Несколько раз Серпилину казалось, что сын заговорит с ним. Но сын молчал. И если бы Серпилин мог посмотреть в эти минуты на свое собственное лицо, он бы, наверное, понял, почему сын молчал и не смел заговорить с ним.

Только когда они остановились возле Генштаба и Серпилин уже ступил одной ногой на тротуар, сын тихо спросил:

— Домой не поедешь?

— Не знаю. — Серпилин посмотрел в ждущее лицо сына, еще раз повторил: «Не знаю», повернулся и тяжелыми, свинцовыми ногами пошел по переулку.

Он позвонил из бюро пропусков, но Ивана Алексеевича опять не было на месте.

— У начальника Генерального штаба, — ответил адъютант, — и неизвестно, сколько пробудет, может

быть, оттуда прямо... — Он не договорил, куда «прямо», и добавил: — Возможно, до самой ночи. Я доложил, товарищ генерал. Заявка на вас дана, вылет в восемь пятнадцать с Центрального. Куда за вами машину прислать?

— Домой.

— В семь ровно будет у вас. Генерал-лейтенант просил передать, чтоб вы вечером были дома, он, как освободится, будет сам звонить вам, возможно, даже ночью. Просил передать, что непременно увидит вас. Только будьте дома.

— Хорошо.

— Машина вам еще нужна сегодня?

— Нет, — сказал Серпилин, подумав, что сегодня ему уже больше ничего не нужно, разве что зайти куда-нибудь поесть. Он так ничего не ел и не пил со вчерашнего дня, кроме тех двух стаканов чая с бубликами в приемной у Ивана Алексеевича.

— Тогда здравия желаю, товарищ генерал. Примите мое сочувствие вашему горю.

— Спасибо. — Серпилин положил трубку.

Выходя из Генштаба, он еще не решил, куда идти: пообедать можно было и в столовой при городской комендатуре на Первой Мещанской, и дома. Птицын перед отъездом с фронта положил ему в чемодан сверток с какой-то едой.

«Да, пожалуй, домой». Однако сразу идти туда не тянуло. Хотелось походить по улицам одному, справиться с чувствами, делить которые было не с кем. Он не спеша вышел на улицу Кирова, свернул в Фуркасовский переулок и обогнул дом, во двор которого его привезли когда-то ночью. В разные времена вспоминал об этом по-разному, а сейчас вспомнил мельком и даже усмехнулся: вот, ничего, иду мимо, жив, здоров!

«Я жив, здоров, а Вале это стоило жизни». И хотя имел право на гнев, но подумал об этом без гнева, просто со смертельной тоской.

Обогнув площадь, свернул вниз к Малому театру.

Было морозно и тихо, небо прояснилось. Затемненные улицы посветлели, можно было даже различать лица прохожих, если они проходили совсем близко и так же, как он, не торопились.

Он подошел к зданию Малого театра и хотел перейти улицу, как вдруг кто-то схватил его сзади за рукав. Он обернулся, думая, что это кто-нибудь из сослуживцев, но перед ним, продолжая держать его за рукав, стояла очень маленькая женщина в ушанке и шинели с петлицами военврача.

Он удивился: генералов не принято хватать среди улицы за рукава шинели, — и, только успев удивиться, понял, что хорошо знает эту маленькую женщину в форме военврача, с перепуганными от радости и удивления глазами.

— Здравствуйте, товарищ доктор, — сказал он, снимая перчатку.

Маленькая докторша улыбнулась и тоже заторопилась стащить перчатку. Перчатка не снималась, и она стащила ее по-детски, зубами. Ее маленькая, крепкая рука с неожиданной силой пожала руку Серпилина.

— А я шла навстречу, — сказала она, не отпуская его руки, — и вдруг вижу: вы идете! А потом подумала: не может быть, это не вы, и прошла. А потом подумала: нет, а вдруг это все-таки вы? — и побежала за вами. Видите, даже за рукав схватила, не побоялась, что достанется, если это не вы. А это вы!

— А почему считали, что не может быть? — спросил Серпилин. — Заранее в расход меня списали?

— Нет, не потому. А просто потому... — Она замялась.

То, что она увидела Серпилина, казалось ей сказкой не потому, что он не мог оказаться живым; он как раз вполне мог оказаться живым. Она, как и все другие, знала в то первое утро после выхода из окружения, что его оперировали и увезли на санитарном самолете в Москву.

Сказкой было другое — то, что она сама после всего, что случилось с ней, все-таки жива и может теперь ходить по улицам Москвы и даже встречать людей, которых она когда-то знала, но уже не надеялась увидеть.

Чудом была она сама, со своей судьбой. Но она не привыкла так думать ни о себе, ни о своей судьбе, и поэтому чудом для нее был живой и здоровый Серпилин. Перед ней в генеральской форме стоял тот самый человек в рваной шинели и фуражке со сломанным козырьком, который сказал им в последний день перед прорывом из окружения: «Завтра в это же время мы с вами будем или мертвыми, под ногами у немцев, или живыми, среди своих, а третьего не дано!»

Она смотрела на Серпилина, продолжая держаться за его руку, словно он сейчас улетит.

— Вот вас-то я действительно живой не думал видеть.

— Да, вы знаете, на следующий день... — начала маленькая докторша, но Серпилин прервал ее:

— Знаю, мне Шмаков написал потом о всей этой сволочной истории. А вы, значит, все же выбрались тогда?

— Нет, я не тогда, — сказала маленькая докторша, наконец-то отпуская руку Серпилина. — Я теперь... то есть не теперь...

— Так когда же все-таки — тогда или теперь? Что-то не понимаю вас, — сказал Серпилин. — Может, вы по-военному, по порядку мне расскажете?

Но по порядку у нее все равно не вышло.

Она сначала рассказала, что вот уже третий день ходит по Москве, потому что выписалась из больницы, и у нее отпуск как у выздоравливающей; потом объяснила, что в больницу Склифосовского она попала потому, что ее, раненную, вывезли из партизанской бригады, а в партизанской бригаде она была не все время, потому что до этого была в подполье в Смоленске, а еще до этого тоже была в партизанской бригаде, но она тогда называлась еще не бригадой, а отрядом, а в этот отряд...

Если бы она писала свою автобиографию, то, наверное, все, что она так торопливо выпаливала сейчас Серпилину, заняло бы много страниц. Но читать эти страницы, чтобы сообразить действительный ход событий, надо было бы наоборот, от конца к началу. Наконец, добравшись до этого начала, она рассказала, как ее вынесли на себе Синцов и Золотарев («Помните, такой маленький, он до прихода к нам шофером был у Баранова, который застрелился, помните?»), и озабоченно спросила:

— Вы не знаете, что с ним? Может, вы случайно знаете?

В голосе ее была надежда: почему она жива, а они не могут быть живы? Чем она лучше их?

Не больно-то хотелось отвечать на этот вопрос, но Серпилин ответил, что Золотарев в конце сорок первого года был жив, а Синцов, по его сведениям, погиб. И сведения эти, к сожалению, не вызывают сомнений.

— Погиб! — вскрикнула маленькая докторша. — Неужели погиб?

— К сожалению, так.

— А я думала, он живой, — грустно сказала она.

И Серпилин, глядя на нее, вспомнил, как в машине, по дороге в медсанбат, поручал Синцову, чтобы тот позаботился о ней.

— Значит, он вас и вынес?

— Он.

«Все же, прежде чем умереть, сделал то, что обещал», — с уважением подумал Серпилин об этом давно умершем человеке.

— Что ж мы тут посреди дороги стоим? — сказал он. — Вы куда направлялись, товарищ доктор?

— А вы не смейтесь надо мной. — Она подняла на него глаза. — Меня зовут Таней, если вы только не забыли...

— Ладно, — сказал Серпилин. — Этого я, конечно, не забыл и не забуду, а просто как-то не привык так называть военнослужащих.

И он улыбнулся своей доброй, знакомой ей улыбкой, и она подумала, что он остался таким же хорошим человеком, каким был. А он, глядя на ее осунувшееся лицо, подумал, что хотя она сама и легко говорит о своем ранении, но ранение это, наверное, было тяжелое, да и в госпиталях харчи оставляют желать лучшего.

— Так куда же вы идете?

Они оба отошли от края тротуара и теперь стояли у стены Малого театра, возле заложенного мешками и забитого досками памятника Островскому.

— Домой. Я после госпиталя у одной госпитальной нянечки живу. Она меня пригласила пожить, пока я в Москве.

— А откуда шли?

Она кивнула в сторону Большого театра.

— В театр хотела попасть.

— И что же?

— Мне сказали, что сегодня Уланова танцует: «Лебединое озеро». Я думала, хоть какой-нибудь билетик попрошу, всего-то один! Сказали, чтобы даже и не думала.

— Вот чем, значит, вы расстроены, — сказал Серпилин.

— Это я была расстроена, теперь я не расстроена. Я знаете как рада, что вас встретила!

— Я тоже рад, — сказал Серпилин. — Чего уж лучше — вдруг в Москве, как снег на голову, наша маленькая докторша. Мы вас так за глаза звали. Знали вы это?

— Знала.

— А как мы там, в окружении, вас любили и мужикам в пример ставили, знали вы это, понимали?

— Вот я сейчас как зареву, — сдавленным голосом сказала она, и глаза у нее заблестели. — Замолчите, пожалуйста.

— Ничего вы не знали и не понимали, — сказал он. — И ничего вы не заревете сейчас, потому что не с чего вам реветь, остались живой и здоровой. И до конца войны еще

доживете, и счастье у вас еще будет целыми охапками. Я бы, по крайней мере, если б меня спросили, сколько вот ей счастья не жалко дать, сказал бы: для этой мне ничего не жалко! За такую бы охапку проголосовал!

Он широко раскинул свои длинные руки.

— Видите, какую, а вы реветь вздумали!

— А я уже не реву, — сказала она, вытирая перчаткой глаза.

— Значит, хотела попасть в Большой театр и не попала? Пойдем, может, вместе билет достанем.

Он сказал «билет», но ей послышалось «билеты», и она, подумав, что он тоже пойдет с ней в театр, обрадовалась этому даже больше, чем тому, что он достанет билеты, потому что ей хотелось еще очень многое рассказать ему и расспросить про него самого. А здесь, на улице, было уже неудобно его задерживать, и она только что перед этим решила, что ей пора прощаться и уходить.

«Скажи пожалуйста, не могут найти ей билета! — думал он, шагая рядом с нею к Большому театру. — Ей ни для кого и ничего не было жаль там, в окружении, где иногда всю волю в кулак надо собрать, чтобы не превратиться из человека в животное, а им здесь жаль для нее билета! Для какой-нибудь крашеной фри им не жаль, для какого-нибудь завмага водочного им не жаль, а для нее жаль!»

Мысль, что она сама не могла достать себе билет в театр и для того, чтобы она все-таки попала туда, нужен он, с его генеральским удостоверением, очень сердила его.

— Походи тут пока между колоннами, подожди меня, — на «ты», как ребенку, сказал он. И, оставив ее снаружи, вошел в вестибюль театра.

Билетов не оказалось, но администратор, узнав, что товарищу генералу нужно всего-навсего одно место, но непременно сегодня, выписал ему пропуск в ложу дирекции.

— Только пораньше приходите, товарищ генерал. А то там стулья нумерованные, если опоздаете, окажетесь за чужими спинами.

Когда Серпилин вышел, он сначала не увидел маленькой докторши, а потом увидел и улыбнулся. Она не ожидала, что он так быстро вернется, и, задумавшись о чем-то своем, чертя пальцем по колонне, бродила вокруг нее, как маленькая девочка.

— Неужели достали? — Она смущенно оторвалась от своего занятия.

— На, держи! — сказал он и протянул ей пропуск. — И учти: чем раньше придешь, тем лучшее место займешь. Прямо заходи в ложу, на первый стул садись и никого на свое место не пускай. Уже недолго до начала осталось! Прямо сейчас и иди.

— А вы? — удивленно спросила она. Она никак не ожидала, что он достанет билет только для нее.

— А мне утром обратно к себе на Донской фронт лететь...

— Так это же утром... — Ей очень хотелось, чтобы он пошел в театр вместе с нею, тем более, что его слова насчет ложи и того, чтоб она никого не пускала на свое место, смутили ее.

— Не могу.

— А что такое, что у вас? Почему вы не можете? — с подсознательной тревогой спросила она, увидев его замкнувшееся лицо.

— Да нет, ничего, все нормально, — ответил он, совершенно не собираясь ни во что посвящать ее. И неожиданно для себя добавил: — Жена у меня умерла. С похорон иду.

Она даже вскрикнула от этих слов и этого голоса — глухого, усталого, потерянного. Как будто этот голос только что был где-то высоко-высоко, на горе, и вдруг на глазах у нее упал и разбился на мелкие кусочки.

— Федор Федорович, как же это, как же это...

Она схватила его за руку и заглянула в глаза.

И он, глядя на эту молодую, чуть не заплакавшую от сочувствия к нему женщину, подумал о том, что ему, Сер-

пилину, Федору Федоровичу, сорока восьми лет от роду, похоронившему сегодня свою жену, придется теперь жить одному и привыкать к своему одиночеству.

— Так вот, — сказал он вслух. — Зря сказал тебе, только расстроил. И говорить не собирался, сам даже не знаю, зачем сказал. Ладно, иди в театр. А мне пора.

Таня растерянно смотрела на него. Она только что, когда он сказал, что возвращается на Донской фронт, собиралась спросить его: как там сейчас в Сталинграде, когда же совсем освободят его? У нее даже мелькнула мысль попросить, чтоб он, когда у нее кончится отпуск на лечение, помог ей поехать на фронт туда, где он служит. Но после того, что он сказал, уже было нельзя ни задавать ему вопросов, ни говорить о себе и своей службе.

— Ну, иди, иди, — сказал он. И даже подтолкнул ее, словно предчувствовал: она собирается сказать ему, что не пойдет ни в какой театр.

Она послушно пошла, но потом обернулась и увидела, что он еще не ушел и глядит ей вслед.

— Федор Федорович, а можно вам написать?

— Пиши, если не лень.

— А какая ваша полевая почта? Я запомню.

— Пятьсот четыре тринадцать — д. Иди, чего встала?

И она, снова повернувшись и повторяя губами «пятьсот четыре тринадцать — д, пятьсот четыре тринадцать — д», потянула за ручку тяжелую дверь.

Домой Серпилин добрался поздно. Спускаться в метро и толочься среди людей не хотелось, и он прошел всю дорогу пешком.

— А где мама? — спросил он открывшего ему мальчика.

— На работе.

— Поздно!

— Она по суткам работает: сутки работает, сутки дома.

— А где? — Серпилин почему-то не подумал вчера, что соседка работает.

— На Казанском вокзале эвакуатором.

— А ты на хозяйстве?

— Я тоже только пришел.

— Во второй смене?

— Нет. На железной дороге, уголь для школы выгружали.

— То-то, гляжу, у тебя руки...

Мальчик посмотрел на свои руки и ничего не ответил.

— Ты в каком?

— В седьмом.

— Много сейчас народу у вас в школе?

— Много. У нас три школы слили в одну. А нашу под госпиталь отдали.

— А чайник электрический у вас есть?

— Ваш.

— вскипяти чаю на двоих. Твой чай, мои харчи.

— Только давайте на кухне, — сказал мальчик, — там теплее.

Серпилин открыл дверь в свою комнату и позвал мальчика.

— Достань из чемодана сверток. Сообрази, а потом меня позови.

Мальчик кивнул, достал сверток и вышел из комнаты.

Серпилин остался один, закурил и несколько раз прошелся по комнате. Потом открыл дверку полупустого шкафа и пальцем, словно по клавишам, провел по нескольким висевшим на плечиках платьям.

Вещи, вещи... Не так уж и много их. Но что с ними делать? Куда их девать? Хорошо, что он улетает утром и неизвестно, когда попадет теперь в эту комнату. А вещи... Что ж. Может, отдать их, с глаз долой, соседке? Пожалуй, обидится... Хотя почему обидится? Продаст на базаре да купит что-нибудь сыну. Вон у него валенки латаные. Пусть валенки ему купит. Так и скажу...